



Александр Крупинин

В мечте о вечном фа-диезе,
который более всего

Александр Крупинин

В мечте о вечном фа-диезе,
который более всего

Санкт-Петербург
2024

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1

«Бессмертны, наги, юны, влюблены...»	11
Прогулка	12
Зима в Петербурге	14
В Коломне	16
Каравайчук	20
Какаду	22
На Десятой Рождественской улице	24
«Братьев-близнецов Сумишевских...»	28
Ресторан «Незабудка»	31
Канон недобитых	33
Кондакопшинское болото	36
Памяти А. Бр.	39
Ямвлих	41
На проспекте Науки	45
В Купчине	48
«Над кондитерской Вольфа восходит звезда Каллипига...»	50
Петербург — город чёрной козы	53
Урология	55
«Холодало. На Ольгинской выла собака...»	57

«Мыли голову хозяйственным мылом...»	59
на углу Невского и Зеленина	61
ИНТЕРМЕЦЦО 1	63
«В кустах не смолкает жалейка...»	65
«серые гуси пролетают над хижинкой...»	67
Марина Чомбе и Борис Собакин	69
ЧАСТЬ 2	71
Павана	73
Барокко	75
Московские стансы	77
«Ещё весной гуляла по Лесной...»	80
Кораблик	82
На Савёловском вокзале	84
«Студенты Тимирязевки хмельные...»	86
Баллада о сгоревшей библиотеке	87
ИНТЕРМЕЦЦО 2	89
«В моём саду пурга и хаос...»	91
Река	93

«Вислогубый старик, многоликий, как парк Серенгети...»	95
Слонорыбов и мясопотам	98
В поля!	101
«Из-за Свияги ветры злые дуют...»	103
Грузди	105
 ЧАСТЬ 3	 107
«храпел в сенях погонщик бородатый...»	109
«Ходит песенка по кругу в лесу...»	110
Прощания в Саранске	111
«Ты так любила песню про щегла...»	112
Ночные люди	113
«Среди полей Кузбасса и Донбасса...»	114
Сказочное	117
Косоротов	119
Агаша	121
Кульмаметьев	123
Ежевика	126
На берегу	129
Фома Шилохвостов	132
«Всё есть вода, и всё полно богов...»	134
«Мои стихи наивны и просты...»	136

«Девочка, плетущая колбаски...»	138
Прохожие	139
Парыгин	140
В Буинске	141
«И всё же мир разумен и прекрасен...»	143
Кисловодск 1978	145
«Россия, мы найдём тебя когда-то...»	147
Родина	149
 ИНТЕРМЕЦЦО 3	 151
«Последняя прозелень осени...»	153
«Я не забуду тебя, Крысуля...»	154
«Не Бог тебя создал, Мари...»	156
Осьминог Венедикт Коляскин	158
Порт-Морсби	162
 ЧАСТЬ 4	 165
«В Париж летела жаба на метле...»	167
«Я жить хочу и умереть на юге...»	168
Казелла	170
Ем свиную рульку на асфальте у церкви Сен-Медар	172

«Мы смотрели на мир сквозь цветное стекло...	174
Шекспир в Париже	176
«Мы движемся! Движемся, Боже!..»	178
Рай	180
«Живая жизнь подобна червяку...»	182
«Поэзия — последняя маслина...»	183
Ночь	184
«Круассаны и крутоны, тенора и баритоны...»	186
Последний бард	188
«по садам невидимых камней...»	189
 ИНТЕРМЕЦЦО 4	 191
 Теология	 193
Смерть товарища Чэнь Чу	197
«Никогда не забуду, однажды на станцию Питер...»	201
 ЧАСТЬ 5	 203
 Война закончилась	 205
«Счастлив, кто видел полёт пестрокрылой чубайры...»	207
В саду Бим-бом	209

Пилигримы	211
Эпоха Сун	213
«В слезах о пожилom иезуите...»	215
Антоний Падуанский	216
Die Winterreise	218
Евдокия	223
Аид	227
 CODA	 229
 «Полёт Земли загадочный и длинный...»	 231
«Погасли фонари и все светила...»	233
«небо так прозрачно...»	235
«По дому рыщет ветерок несвежий...»	237
«расцветает морковник...»	238
«В секретный сад, куда никто не вхож...»	240
Memoria	241

ЧАСТЬ 1

* * *

Бессмертны, наги, юны, влюблены,
В предчувствии Всемирного Потопа
Мы шли с тобой, любимец Каллиопы,
Дворами Петроградской стороны.

Из тьмы колодцев были нам видны
Фригийские запутанные тропы,
Все пиршества похищенной Европы,
Все праздники, похожие на сны.

Мы убегали рифмой, автостопом,
Потоками придуманной весны
Из нищей, умирающей страны.

Европа, Каллиопа и Андропов
За нами наблюдали с вышины,
Небесные настроив микроскопы.

Прогулка

До чего же пустынны эти места —
от Кировского моста до Кантемировского
моста
под созвездием Северного Креста.

Кометы над нами распускали хвосты
небывалой холодной изысканной
красоты.
Разлетались в разные стороны острова
и мосты.

Так мы шли вдоль Невы, и Северный
Крест сиял высоко,
и Аксель Иванович Берг выходил
в голубом трико.
Было слышно, как плещется молоко.

И Аксель Иванович пел хорал на
несколько голосов,

пожилой адмирал запирает
Петроградскую сторону на засов,
я чувствовал, как трепещет маятник
твоих часов.

Мы молчали, потому что и без нас была
тишина,
только кричали чайки, и на Финском
заливе начиналась война.
Появлялись древние бестелесные
племена.

Истончалась среда, её пар уходил
наверх,
вместе с ней исчезал в предзимье Аксель
Иванович Берг,
им на смену вставал между нами
таинственный новый четверг.

Время вышло, я и ты ушли далеко-далеко.
Остался только чуть слышный хриплый
голос Жюльетт Греко.
Нева продолжает течь, и на Финском
заливе ягнёнок пьёт печаль-молоко.

Зима в Петербурге

На Невском снег, на Вознесенском снег,
На Малодетскосельском тоже снег.
Маршак седой и Соловьёв седой,
И Костоправкин с белой бородой.
Вот кто-то бросил чебурек на снег,
А рядом голодает человек.
Сидит без хлеба тощий Нудельман,
Он всеми брошен, пуст его карман.
И голуби воронами кружат,
И чебурек их лапами зажат,
И варезки под деревом лежат
Цепочкой неуклюжих медвежат.
А снег идёт четвёртый день подряд.
Теперь он будет вечно, говорят.

Я весь в слезах по Невскому иду,
И слёзы леденеют на ходу.
Иду я мимо вздыбленных коней
И вспоминаю, как всегда, о ней,

О той, что реки превращала в соль
И слёзы обречённых в алкоголь.
Она, куснув, бросала чебурек
И прыгала, как одноногий грек.
Хотя в Судане голод, например,
И там никто не принимает мер.
А Нудельман с урчащим животом?
А Кнорозов с некормленным котом?
И кто ответит за бездушный снег,
За брошенный цинично чебурек,
За всю тоску, всемирную тоску,
Как пистолет, прижатую к виску?

О, нежный отрок Соловьёв-Седой,
В столовую бредущий за едой.
О, измождённый Александр Блок,
Несущий трёхэтажный котелок.
О, ты, летящий и скользящий снег,
И ты, в снегу лежащий чебурек,
И все мои бессильные слова:
«весна, спагетти, вилка, синева».

В Коломне

Мечтательны красавицы Коломны,
Таинственны, как Тина Карамыш.
Их речи неясны, их песни томны.

Одна из них, изящная, как мышь,
Изысканная, вёрткая, живая,
Оделась, будто ехала в Париж,

И битых полчаса ждала трамвая,
Пока трамвай по имени Кузьма
Тащился по Коломне, завывая.

Унылый путь сводил его с ума.
Дорога шла вдоль грязных тротуаров
И мимо куч собачьего дерьма.

Катил Кузьма, потрепанный и старый,
А ведь сиял когда-то серебром,
Был молод, увлекался Че Геварой,

Ходил в берете, пил кубинский ром,
Читал стихи поэта Гумилёва
И понимал поэзию нутром.

Теперь он стар, потаскан и оплёван.
Но дверь открыл, и тут вошла она,
Как дар небес, и это было клёво.

Смешались люди, кони, времена,
Мосты, перила, русское барокко,
Дерьмо собачье, вечная весна,

И стало вдруг ему не одиноко.
Он радостно воскликнул: «Я балбес,
Себя похоронивший раньше срока!»

Смотрел на них с коломенских небес
Эрнесто Че Гевара де ла Серна
В берете и с ружьём наперевес.

Красавица подумала: «Наверно,
Какой-то парень влез на каланчу
И вот висит над улицей Галерной».

Потом она сказала: «Не хочу
Я возвращаться к жениху-сектанту,
Я лучше на трамвае укачу».

Смеялся бородатый команданте
И громко на испанском языке
Читал стихи из третьей книги Данте.

Тем временем в блестящем пиджаке
Слонялся по Английскому проспекту
Жених несчастный с венником в руке.

Потом болтали жители, что некто,
Держа в руке подвяленный букет,
Пытался заманить прохожих в секту.

Красавица достала свой планшет
И написала: «Глупый саентолог,
Будь счастлив и живи сто двадцать лет.

Нелепый наш роман был слишком долг,
А радости в нём не было ничуть.
Люби своих сектантских балаболок».

Трамвай Кузьма, презрев законный путь,
По тротуарам проносился резво,
На всех прохожих нагоняя жуть.

Народ кудахтал: «Вон трамвай
нетрезвый,
А в нём девица пляшет ча-ча-ча»,

И разбегались гости из Хорезма.
Кричал Кузьма, колёсами стуча:
«Теперь мне нипочём любые бездны,
Вскипает кровь, свежа и горяча!»

Мешать их счастью было бесполезно.
От скорости кружилась голова.
«Куда везёшь меня, мой друг железный?»

«В Лозанну, в Рим, в Париж, на Острова!»

Каравайчук

Среди невзрачных питерских лачуг
его всегда нетрудно было встретить.
По улицам ходил Каравайчук
в поношенном коричневом берете.

Пока плодились на берегах Невы
мещане, индюки, собачьи морды,
вокруг его нелепой головы
вitalи небывалые аккорды.

По городу метался целый день,
как финский ветер вездесущ, и даже
его берет, надетый набекрень,
стал частью петербургского пейзажа.

На Лиговке, на Троицком мосту,
на остановке пятого трамвая

врывался он в мирскую суету,
потоки благодати изливая.

Из всех углов струилась дребедень,
а музыка случалась очень редко,
но чуть светлее становился день,
когда вдали маячила беретка.

Наш добрый маг ушёл в небытие.
Кого искать в толпе, скажи на милость,
когда не встретишь музыки нигде,
а дребедень струится, как струилась.

Какаду

Тучный молчаливый какаду
тосковал в Михайловском саду.
Без любимой доньи Леоноры
чувствовал себя он как в аду,
ковылял и думал на ходу:
«Смысл исчез, теперь я пропаду.
Жизнь пуста без той, следов которой
я уже вовеки не найду».

Вспоминал он летнюю жару,
крики обезьяньи поутру,
тропики, которые когда-то
воспевал поэт Курухуру.
«Где они, пампасы и Перу,
апельсины, джем и кенгуру?
Леонора, ангел мой хохлатый,
скоро я замёрзну и умру».

Слякотны тропинки и грязны,
дворники ленивы и пьяны.
В наши времена порывы духа
глупы, неуместны и смешны.
Сад притих в преддверии зимы,
боги в тёплый хлев увезены,
какаду, похожий на старуху,
щиплет гроздьё горькой бузины.

На Десятой Рождественской улице

На Десятой Рождественской улице
праздников не бывает.

Никогда сюда не заглядывают автобусы
и трамваи.

Вдоль домов пробираются люди
с голубыми унылыми лицами,
с ледяными ногами.

Пахнет мусором, креозотом, пышками,
странными пирогами.

Молодёжь вырастает нервная, тут и там
затекает драки.

Недовольно рычат собаки.

Голубые тощие кошки
подбирают хлебные крошки.

Вот Директор булочной появляется
из-за кулис,

мудрый, как ворон, хитрый, как лис,
красивый, как в зоопарке павлин,
сияющий, как намазанный маслом блин,
учтивый, как водитель такси,
властный, как императрица Цы Си,
непонятный, как стихи на фарси.
Свежеиспечённый хлеб в одной руке,
банка купороса в другой руке,
чёрненькая собачка Плецлихер Тод
невдалеке.

И надо бы убежать, уехать, улететь,
умчаться, исчезнуть, скрыться.
Но к директору тянутся тощие руки,
светлеют лица.

Каждый думает, мне бы, мне бы
взять бесплатно кусочек хлеба.
Но бесплатно не взять, и придётся
платить, хоть тресни.

Над Десятой Рождественской улицей
разливается грустная песня.

«Купорос, купорос, что ты в сердце
принёс,
Как ты жизнь поломал и пустил под
откос,
Как ты душу измучил и плоть истерзал,

За какие грехи наказал?
Ты хозяин, я раб твой навек, купорос.
Ты казнишь каждый день, ты целуешь
взасос.
Ни жены нет, ни дома, ни хлеба.
Ты погибель моя, купорос, купорос,
Голубой, как апрельское небо».

Добрая дева Десятой Рождественской
улицы
никогда не бывает пьяной,
хотя в кафе «Лаванда» за столиком номер
двадцать один сидит постоянно,
пьёт шампанское, водку, джин с молоком,
пиво, мартини россو,
любит зефир, запивает его кальвадосом,
но скорее уедет отсюда, чем съест батон
с купоросом.
Он же кислый, горький, вонючий,
солёный, невкусный, несладкий,
вредный для печени, гадкий.
Эта дева всегда улыбается и понять
одного не может,
отчего на Десятой Рождественской
у людей унылые рожи.
«Я ведь страждущих обслужила,

всех вниманием окружила, обаяла,
надежду вселила.
Я любовь почти подарила, а любовь —
великая сила
и гораздо сильнее купороса».
Для неё в этом нет вопроса.

Что-то мучило, беспокоило, терзало,
отвлекало,
что-то под обоями шуршало,
что-то кралось,
утаскивало, утягивало, уносило, отбирало
радость,
хихикало, крутилось под ногами, чавкало,
елозило, сморкалось.
По дороге на кухню ногами распихивал
всех по привычке.
Самовозгорались спички.
Самовозгорались, но, к счастью, сейчас
же гасли.
Кто-то жарил блины на машинном масле.
Снизу прибежали люди, спрашивали,
не у вас ли.
Нет, нет, не у нас. Мы ничего не знаем.
Купорос на стенах не слышен,
невыразим, не виден, неосязаем.

* * *

Братьев-близнецов Сумишевских,
Кирилла и Константина,
я помню почти хорошо.
Они были хозяевами маленького
магазина,
продавали белый чай и крюшон.

Потом они шли с оторванными головами
по улице Подводника Кузьмина.
На Дачное падал металлический
камень,
в Сосновой Поляне начиналась война.

Крюшон сочился из-под дверей
магазина,
тёк по улице, растворялся в грязи.

Кто-то в чёрном жилете белый писал
картины,
спрятавшись за жалюзи.

Красная грязь Сосновой Поляны.
Помню запах — железо и кровь.
Никогда не возвращаться, но, от
странного запаха пьяный,
я на этих улицах вновь и вновь.

Вижу марсианские озёра крюшона.
Марсиане лакают, лёгши на берегу.
Безголовые братья смотрят на них
отрешённо,
головы на экзамене в СПбГУ.

В чёрном жилете, с волосами белыми,
как солома,
в тёмном переходе железных дорог
впрыскивает что-то красное, становится
невесомым
и улетаёт туда, где Бог.

Мы познаем химию, дорогой господин
профессор,
мы хотим навеки сочетаться с ней.

Но заплутал профессор среди поросших
лесом
развалин храма Церкви святых
последних дней.

Ресторан «Незабудка»

Тухлой грудинке никто не поможет,
даже Эскофье не поможет.

Ресторан «Незабудка» идёт на слом.

Мама Мария кефир творожит,
старший кондитер зачем-то разводит
дрожжи,
младший кондитер спит под столом.

Яйца-пашот, качаясь, висят на люстре,
слышится голос измученных древних
устриц,
медленный стук замороженных бычьих
сердец.

Совершив обряд поклоненья капусте,
старенький шеф восходит в печали
и грусти
на парящий поблизости в небе ковёр-
холодец.

В городе падающих балконов,
неисполнимых законов
мэр-победитель задумал сверкающий
дансинг-холл,
чтобы высший свет предавался мазурке,
чтобы с Лиговки приходили урки,
каждый вечер танцевать рок-н-ролл.

Растворяется в памяти ресторан
«Незабудка».
Вот ушла по улице Мира последняя
проститутка,
исчезает русский ампир, посуда,
скатерти и вино.
Остаётся только собачья будка
там, где собачка Тобик, лишившаяся
рассудка,
тявкает в небо холодным вечером так
смешно.

Канон недобитых

1.

Там, где пахло сельским бытом
и огурцом,
Нынче пахнет японской книгой с плохим
концом.

Наши ноздри залиты оловом и свинцом,
Мы поём Канон недобитых.

Все мы вышли из садоводства
«Ленптицепром»,
Продираемся сквозь песочный лес
напролом.

Наши головы покрыты пылью, как
серебром,
Наши дети заперты и забыты.

На проспекте Энгельса замедляем шаг
Очередью чуть видимых черепах,

Выросших там, где быт еле слышно пах,
Плохо образованных, бесталанных.

Там, где у Светланы большой пустырь,
Соловецкий высится монастырь,
Тихо расширяется вглубь и вширь.
Исчезает выцветшая Светлана.

Там, где пахло сельским бытом и огурцом,
Поселилась лошадь со злым лицом,
Рассуждает грамотно обо всём,
Громко ржёт и стучит копытом.

В небе вместо солнца висит Стоглав.
Все постановления оболгав,
Топчет наши пажити Волчеслав
Там, где пахло уткой и сельским бытом.

2.

Волчеслав Алексеев уходит,
Убегает, уносит копыта.
Его фото стоит на комодѣ,
Его имя ещё не забыто.

Нашу землю Россию, Расею,
Нашу мать, госпожу и невесту

Истоптал Волчеслав Алексеев,
Не оставив пушистого места
Бросив знаки — душицу и клевер,
Он уходит на Север, на Север.

3.

Приходиша поганья, огород истопташа,
Замутиша озеро голубиное наше.
Приходиша поганья, утащиша Наташу,
В Заозерье своё увезоша на лодке.
Гости непрошены, быстро гребоша,
По воде увезоша стезёю короткой
И оставиша лошадь, злую серую лошадь.

4.

Мы кричали: «Наташа!
Наташа! Наташа!»
Но исчезла Наташа.

Кондакопшинское болото

Не пляшем всю ночь, не едим абрикосы,
не пьем пчелиный настой.

Автобус до станции Белое ходит
полупустой.

Из того, что нам обещали старцы, почти
ничего не сбылось.

Только Зверь о семи головах проходит
Кондакопшинское болото насквозь.

Зверь о двенадцати лапах, семи головах,
вертящий хвостом.

За ним лиса Навсикая, молчащий монах
Хризостом.

На рогах у Зверя начертаны богохульные
словеса.

Так идут по болоту за Зверем молчащий
монах и лиса,

скачут по кочкам, то взявшись за руки,
то друг за дружкой, то врозь.

Зверь, преисполненный гордости,
проходит Кондакопшинское болото
насквозь.

Он не видит лису и монаха, на хвосте
у Зверя огонь,
под ногами мелкие бесы, мыши и прочая
хтонь.

На станции Кондакопшино добывают
горькую соль.

Её покупают царица Тамара, хан
и польский король.

Прочищают желудок, пьют раствор
натошак.

Выпьют и говорят с министрами о всяких
важных вещах.

Соль откалывают стамеской, отправляют
в Краков, Тифлис и Сарай.

Рабочие падают мёртвые и улетают в рай.
Им на смену приходят новые, получают
стамеску и в бой.

За семьдесят тысяч в месяц готов
рисковать любой.

Двадцать четыре женщины превратились
в соляные столбы.

Рано утром они вышли из города
Пушкина собирать земляные грибы.
Но слышали ласковый голос Зверя
и обернулись назад,
хотя им велели смотреть вперёд, на
блистающий город-сад.
Теперь в двух шагах от Пушкина стоят
соляные столбы.
Туда всё время подвозят стамески, сухие
пайки и гробы.

Кондакопшинское болото утопает в дыму.
Петербургским романтикам ездить туда
ни к чему.
Там от застывших женщин отбивают кусок
за куском,
чаще всего стамеской, иногда тесаком.
У одной сломан палец, у другой нет
колена, третья стоит без груди.
Слышится стук стамесок, электричка весь
день гудит.
Толпами едут рабочие, надеются на
авось.
Зверь о семи головах проходит
Кондакопшинское болото насквозь.

Памяти А. Бр.

Как гамадрил среди горилл,
был обаятелен и мил,
с тунцом, яйцом и огурцом
ты сэндвич подарил

своей сестре Надежде Павловне,
и Надя плакала навзрыд,
жуя рыбёшку inferнальную
среди лоханок и корыт.

В кривых очках, в пальтишке драповом,
в ботинках рваных без калош,
на композитора Арапова
ты был разительно похож.

Зима кусалась и царапалась,
судьба ворчала и скреблась.

Тебя достать пыталась лапами
недобросовестная власть.

Ты выходил на ножках тоненьких,
а ветер зверствовал и выл,
твоих друзей неоплатоников
рассредоточить норовил,

а ты питался бутербродами,
бежал по улицам вприпрыг,
не ощущал дыханья Родины,
не понимал её язык.

А мог всю жизнь сидеть на стуле ты,
но, неизвестно почему,
бежал, как пёс, по зимней улице,
на снег роняя ветчину.

Придут потом потомки юные,
найдут в пыли твои стихи,
портреты змей, квартеты струнные
и тонны прочей чепухи.

Они присвистнут с уважением,
узнав про съеденный роман
и бескорыстное служение
прекрасной Зое Либерман.

Ямвлих

О великом романе А. Бр. «Ямвлих»
нам известно только
из воспоминаний Зои Либерман.
Нет никаких причин
не доверять её рассказам.
Все выжившие советские неоплатоники
отмечают точность Зои Либерман,
отсутствие стремления приукрасить
события жизни А. Бр.
И в самом деле, жизнь его была
настолько необычна и удивительна,
творчество настолько безгранично,
что нет никакой нужды домысливать.
Над романом «Ямвлих» А. Бр. тайно
работал несколько десятилетий

и завершил его в первой половине шестидесятых годов.

По воспоминаниям Зои Либерман, роман состоял из пяти частей, всего примерно тысяча двести страниц.

Первая часть начинается с возвращения Ямвлиха из Рима и основания им школы в сирийской Апамее.

В соответствии с учением о перерождении, во второй части Ямвлих действует в средневековой Праге, в третьей части — в Берлине XVIII века, в четвёртой — одновременно в Берлине и в Москве XX века, и, наконец, в финале берлинский Ямвлих встречается с московским на Международном фестивале молодёжи в 1957 году.

В результате философского диалога им удаётся разрешить все вопросы мироздания, и земное существование Ямвлиха заканчивается.

Зоя Либерман подчёркивает

потрясающую эрудицию А. Бр.
Он мог описывать разные эпохи так,
как будто сам жил в них.
Профессор Деревянченко высказывает
гипотезу,
что А. Бр. и был Ямвлихом.
Как вспоминает Зоя Либерман,
она однажды поделилась с А.Бр.
своей мечтой,
чтобы он написал какую-нибудь
небольшую работу,
пусть струнный квартет,
посвятил ей
и больше никому на свете
не показывал.
Тогда А. Бр. сказал, что это будет
не струнный квартет,
а роман о Ямвлихе,
который он писал двадцать семь лет.
Больше года каждое воскресенье
после обеда
А. Бр. читал Зое Либерман
двадцать — двадцать пять страниц
и после этого съедал их.
У Зои был тогда редкий в Советском
Союзе миксер.

Она готовила взбитые сливки или
клюквенный кисель.

А. Бр. ножницами разрезал страницы,
смешивал их с десертом
и в молчании съедал.

Зоя тоже хотела попробовать.

Но А. Бр. не позволял ей,
беспокоясь о её желудке.

На проспекте Науки

В восемь утра ускакали на север бананы
по улице Щорса.

В городе тихо, не крикнет сова, не залает
лихая собака.

Падает снег, гувернантки неспешно
выводят детей пухлощёких.

Сонные дети по снегу бредут, а куда
и зачем, непонятно.

Машу за шарфик усатая бонна ведёт
по проспекту Науки.

Чинно идут, не спеша, но и пискнуть
не смеет несчастная Маша.

Всюду фонтаны, из них даже капля воды
никогда не пробьётся.

Морды набычив, скульптуры богов
и героев стоят повсеместно.

Бедную Машу за шарфик ведут, ей так
грустно, что хочется плакать.
Только мечты незаметно приходят, слегка
согревают сердечко.
Вырасту скоро большая-большая, уеду
отсюда в Неаполь,
Буду курить сигареты, как мама, и пить
итальянские вина.

Или останусь, окончу юрфак и пойду
в президенты России.
Каждый дурак меня слушаться будет,
никто не посмеет перечить.
Деньги у всех отниму и построю тюрьму
на проспекте Науки.
Эту усатую бонну туда привезу и подвешу
за уши.

Бонна бормочет невнятно сквозь зубы
какой-то стишок по-французски.
Как далеки от неё вечеринки в Лидо
и бокал ривезальта.
Ох, тяжело в этой дикой стране, где
никто не читает Монтеня.
Хочется рвать и метать, и девчонку
несносную дёргать за шарфик.

Где-то по северу скачут бананы, одетые
в жёлтые шкурки.

Море Балтийское лезет на берег, камни
терзает зубами.

Старый дурак адмирал Кандауров
в тазике топит бумажки.

Кто объяснит, для чего мы приходим
в мир этот, столь неуютный?

В Купчине

Это всё же неправильно раз за разом
наши деньги, Мария, безжалостно жечь
на плите.

Только я отвернулся, ты завладела газом
и сожгла пять тысяч с криком «не те! не
те!»

Я знаю, тебе нужны другие купюры,
чтобы купить билет в изумительные
миры.

Трудно слышать, как плачут Мадлен
и Юра,
тыкаясь в стены купчинской конуры.
Полыхает над Купчином северное сияние,
в свежем снегу купаются дети, голуби
и коты.

Смотрят в далёкий мир наши глаза
барание,
и мы умираем, Мария, от пыли и духоты.

Как темна над нами белая краска.
Там, на улице, тихо снежок скрипит,
яркий нездешний свет в купчинском небе
не гаснет,
и Мадлен всю ночь у окна не спит.

* * *

Над кондитерской Вольфа восходит
звезда Каллипига.
Петербургские звёзды всегда холодны
и печальны.
Пригибаясь к земле, архитектор идёт
Шнейдер-Штукин.
«Что ж ты горишь наш город!» — кричат
ему вслед пионеры
И в согбенную спину швыряют тяжёлые
камни,
И плюют ему вслед, и хохочут, и бьют
в барабаны.
Архитектор не молод, ему тяжело
уклоняться
От летящих камней, от недоброго
детского слова.
Как жесток этот мир, где художник
всегда беззащитен.

Пионеры хохочут, вокруг разрушается
город.

Тихо падают крыши на головы мирных
прохожих.

Из кондитерской Вольфа выходит
последний кондитер,
За спиной оставляя одиннадцать тысяч
эклеров.

Покупателей нет, все уехали в город
Актюбинск.

Там спокойно, тепло, на прохожих
не падают крыши.

А кондитер остался, он жить не умел
без эклеров.

Плечи мелко дрожат, по переднику
катятся слёзы.

Через несколько дней его дети эклеры
погибнут,

Превратятся в кусочки сухого холодного
теста.

На Владимирской площади в небе маячит
ротонда.

Как прекрасны напротив собора её
очертанья.

Значит, прожил не зря свою горькую
жизнь архитектор,
А незрелые люди по злобе бросают
каменья.

Каллипига покажет свой зад
петербургскому плебсу.
Недоступна звезда, холодна и немного
печальна.
А эклеры над Мойкой летят, словно
дикие утки,
Словно песни восточных славян, словно
сон о прекрасном.

Петербург — город чёрной козы

Тускло светятся жёлтые козы глаза,
Бьётся пойманной птицей в силке железа.
Где река распластала нечистый язык,
Тихо спит Петербург — город чёрной
козы.

Там течёт из тюрьмы безымянный ручей,
Ловит отблеск кровавых её кирпичей
И, поймав, эти блики приносит реке —
Сумасшедшей графине в седом парике.

Жёлтый свет светофоров ночных
в пустоте.
Ходят люди не те, постоянно не те.
Из дворов наблюдает за ними коза.
Чёрный нос у неё и чужие глаза.

Петербург —город жёлтых сигналов
во тьме,
Петербург — город красной тюрьмы
на холме,
Где мещане бесшумны, слепы и немые,
Где проходит вся жизнь под покровом
тюрьмы,
И безропотны мы, как мудрец Лао-цзы,
Как асфальт под копытами чёрной козы,
Где в руке, будто льдинка, осколок
стекла,
А надежду графиня-река унесла.

Урология

На побережье Финского залива
Открылась Урология счастливых.
Урологам не нужен кислород.
Пока волна смертельная идёт
и движется за ней волна вторая,
мы чувствуем себя под сенью рая.
На нашем отделении покой,
и опытной негнущейся рукой
профессор Коков режет аденомы.
Врачи скромны и кряжисты, как гномы.
По коридорам тёмная моча
течёт, свежа, бурлива, горяча,
и исчезает в сокровенных трубах.
Из города не слышно звуков грубых.
А ночь тиха, едва ли скрипнет дверь,
заведующий спит, как сытый зверь,
медсёстры невесомы, как вилиссы.

И, кажется, вот-вот из-за кулисы
нагрянет смерть, танцуя трепака,
застывший мир взорвётся, но пока
больные смотрят молча на залив,
а рак покладист и нетороплив.

* * *

Холодало. На Ольгинской выла собака.
Пожилой гинеколог сидел на полу
и плакал.

Энтропия росла, каждый миг становилась
жирнее.
Рассыпалась страна, неспособная
справиться с нею.

По асфальту бежали врачи, подгоняемы
воем.
Кто-то верил, что выдадут хлеб на
границе с Литвою.

На полу гинеколог седой безутешно
плакал,
А когда-то считался опаснее всяких
дракул.

Как мы были прекрасны, как были
нахальны когда-то,
От Сената к Синоду ползли, от Синода
к Сенату.

Вой собачий печёнку выкручивал, горло
царапал.

Умирала страна, слёзы капали на пол.

* * *

Мыли голову хозяйственным мылом.
Что-то мямлил Мулюков-Сейфуль.
Очень редко меня ты любила
в нашем городе зелёных кастрюль.

Без конца мыли голову, пена летела,
ложилась хлопьями на крашеный пол.
Ты вертела всеми, когда хотела,
и знала секретный язык Кобол.

А потом появился мрачный Гуго,
напоминавший старого злого кота.
Я неделю не мог отойти от испуга
и скрывался в яме у Кировского моста.

Этот Гуго урчал животом и махал
кулаками,
а кулак его был размером с рояль.

Только он сумел растопить твоё сердце-
камень
и увёз в какой-то свой Монреаль.

Как сосед Корольков застревает
в уборной,
я застрял в этом мире без мысли и сна.
А по радио голосом, похожим на
Бормана,
кто-то пел, что ты у меня одна.

на углу Невского и Зеленина

в белом войлочном кителе
я всё стою и жду тебя у киоска
на углу Невского и Зеленина
киоск покосился
в нём давно не торгуют газетами
и ничем не торгуют

ты всегда была разной
то в очках то в коверкотовом платье
то в шубе
то высокая как баскетболистка
то обычного роста
то блондинка то рыжая
но всегда держала сигарету
между средним и безымянным пальцем
по этой сигарете я узнавал тебя

я тебя целовал
и мы шли в кофейню на улице Щусева
пили маленький двойной без сахара
а потом ехали к тебе на Покровку или
на Витебский

но прошло двадцать лет
как мы встретились в последний раз
может быть ты уехала куда-нибудь
в Миннесоту
а может быть бросила курить
и проходишь каждый вечер
мимо меня
по Невскому или по Зеленина
а я не могу узнать тебя

ИНТЕРМЕЦЦО 1

* * *

В кустах не смолкает жалейка,
Двоится луны силуэт.
Варвара Петровна, налей-ка
В бокалы Шандон и Моэт.

Я тост подниму за Шилейко,
Какой это дивный поэт,
И выпью за Вильяма Блейка,
За их несравненный дуэт.

Таинственно кружится овод
Над светлой подстилкой из мхов,
Рождает невнятное слово.

Пейзаж травянист и ольхов.
Быть может, всё в жизни лишь повод
Для нежно-тягучих стихов.

* * *

серые гуси пролетают над хужиной
каждый год туда и обратно
Варвара живёт с кавалером горбатым
слегка косоглазым ёжиком стриженным
он ходит весь день с топором по участку
а лунной ночью читает Квятковского
вместе с ним погружается в ритмы
Космоса
познаёт поэзию мир и счастье
ёжик помнит все стихи Оболдуева
считает его непризнанным гением
идёт с топором и под настроение
декламирует на ходу его
Варвара на кухне сидит и плачет
руки свисают ниже коленей
никакой Оболдуев этот не гений
обычный пьяница не иначе

почему его не читает Демидова
почему не учат школьники в школе
ты лучше всех разбираешься что ли
или сам Оболдуева этого выдумал
неподходящая для поэта фамилия
потомок какого-то Оболдуя
она поднимает кулак негодуя
как Робеспьер при виде Бастилии
ты сам Оболдуя выдумал этого
а стихи-то твои но боишься признаться
как будто не семьдесят а восемнадцать
дурак дураком а якшаться с поэтами
она печёт пироги из черёмухи
лучшие в северном полушарии
ради тех пирогов он зовёт её Варенькой
прощает неразвитый вкус и промахи
гуси серые превращаются в розовеющих
мы идём за Квятковским стезями
тёмными
по пустым городам по залам с колоннами
разве есть на Земле разве есть на Земле
ещё

Марина Чомбе и Борис Собакин

Марина Чомбе и Борис Собакин —
великие последние поэты.

Когда Борис бредёт по буеракам,
терпя зимой и замерзая летом,

таинственные знаки создавая,
пища слова на скрипке красноватой,
Марина Чомбе едет на трамвае
по замкнутому кругу и обратно.

Не тот поэт, кто смолodu был весел,
кто растекался мыслями пустыми,
кто на затылок катафот повесил
и убегал темницы и пустыни.

Борис Собакин — наш огонь нездешний,
Марина Чомбе — наши сны цветные.

В саду вскипает белая черешня,
нисходят с неба песни неземные.

Борис Собакин кланчит сигарету
у толстого румяного жуира,
пока в который раз кого-то где-то
на пир сзывает варварская лира.

ЧАСТЬ 2

Павана

Так жалобно мурлычат тенора.
Вокруг костра до самого утра
танцуют фавны, опустив хвосты,
павану небывалой красоты.

Пашкевич рельсы сдал в металлолом.
Чернеют шпалы, плачут о былом.
Пути-дороги заросли травой.
Мы навсегда застряли под Москвой.

А тенора так жалобны в ночи.
Не спят в своих квартирах москвичи.
Под их глазами тёмные круги.
На кухне засыхают пироги.

Рычит в ночи педальная труба.
Горчит свечи печальная судьба.

Свеча всё тоньше, звуки всё слышней.
Плывёт павана. Я навеки с ней.

Ротвейлер Гоша замер у дверей.
Не ест морская свинка сельдерей.
Танцуют фавны у платформы Лось,
их губы тихо шепчут «не сбылось».

Барокко

Зима — замоскворецкая сорока.
Холодные объятия барокко.

Храпя чуть слышно, засыпала Нина.
За тонким тюлем завывали вьюги.
Поэт Козлов на дряхлом пианино
Играл математические фуги.

Поэт был слаб, изрядно лыс и тучен.
Противно липла потная рубаха,
Но всё же пальцы с ловкостью паучьей
Сновали шустро по веленью Баха.

Чудесные мотивы снились Нине,
Когда метели с фугами сливались.
Красивый длинноносый Паганини
Садился рядом с ней на сеновале.

Как пятый чёрт, орудовал смычком он
И фуги заглушал своим каприсом.
Казалось, страстной музыкой влекомый,
Весь мир смеётся над Козловым лысым.

Козлов грустил, а фуги не спасали,
В них не осталось никакого прока.
Шептал он: «Я забыт в Журнальном зале,
Я устарел давно, как Сумароков».

Ещё шептал он: «Запрещаю Нинке
Ночами шляться по Большой Ордынке».

Московские стансы

1.

Москва полна царей, церковей
и адмиралов.

Там ходит адмирал с волшебным
сундуком.

А я всегда любил московские подвалы,
где каждый человек неспящ и насеком,
где каждый человек совсем не очевиден,
мечтателен, незряч, не сведущ, остронос.
В таинственный подвал спускается
Овидий,
не трудно там найти сюжет
«Метаморфоз».

2.

Московский муравей, жилец
консерваторий,

подвальный меломан, знаток минорных
гамм,

поёт по вечерам, басам великим вторя,
забытый старый склад преображая
в храм.

На арфу заползёт, и струны тихо взвоят,
негромкую струну хоть усиком задень,
а вертолёт Ми-6 летает над Москвою,
и нежное тыр-тыр струится целый день.

3.

Назон воспел любовь, и ей с тех пор не
спится,

лютует над кольцом с косой наперевес.

В её кострах горит безумная столица,
её огонь в глазах московских поэтесс.

Милее всех в Москве хрустальная
Татьяна.

Невзрачный Ли Сяньтянь повержен
красотой.

Бормочет он стихи, шатается, как пьяный,
и песенку поёт про город золотой.

4.

Москва полна любви, крадущейся чуть
слышно.

Бедняга Ли Сяньтянь её не услышал
и умер от любви раздавленной вишней,
пока закат хмельной над ЦУМом
полюхал.

А небо над Москвой бездонно
и прекрасно,
как озеро Тайху, светло и голубо,
огромней, чем звезда на форме
адмиральской,
прозрачней, чем слеза над строчками
Ли Бо.

* * *

Ещё весной гуляла по Лесной,
накинув пончо белое от Гуччи.
Она ловила яркие созвучья,
размахивая книжкой записной.

Она не понимала смысла слов,
не знала теорему Пифагора,
токай не отличала от кагора,
людей не отличала от богов.

Она стихи писала о вещах,
в которых ничего не понимала.
Слова она, как яблоки, ломала,
и сок блестел словесный на плечах.

Метафоры, над городом паря,
напоминали синих попугаев,

пока строка текла, изнемогая,
и высыхала, как Аму-Дарья.

Она писала белые стихи,
а рифмовать, к несчастью, не умела,
и были те стихи белее мела,
Швейцарских Альп и сливочной ухи.

Она стихи писала про зверьё,
бегущее по сказочному лесу.
Она была великой поэтессой,
сам Шелехметский уважал её.

Ещё она писала про ершей,
позорно с нерестилища бежавших.
Её стихами пьяные мамыши
пугали непослушных малышей.

Метёлкой машет чернобровый гном,
полупустынна улица Лесная,
холодный ветер, отдыха не зная,
качает лампу под её окном.

Москва, Москва, как холодно тебе.
Бегут гуськом безногие трамваи,
по переулкам ветер завывает,
Неглинка задыхается в трубе.

Кораблик

Над знаменитой площадью Болотной
парит, парит кораблик беспилотный
и шевелит антеннами-усами
над башней хризолитовой с часами,

участливо разбрасывает что-то
над пышнотелой вечной терракотой,
над ярмаркой, над сандуновской баней,
над древним домом с головой кабаньей,

бросает клинописные таблички,
стихи и грабли. Люди по привычке
хватают всё, что падает бесплатно.
Зачем им столько грабель, непонятно.

Сперва приходит ветер на Тверскую,
рычит, как зверь, прохожих атакуя.

Из ветра возникает шумеролог,
хоронится в каверне книжных полок.

На черепе его большом и лысом
дуга очков сверкает кипарисом,
его глаза наполнены слезами,
его мозги похожи на лазанью.

Москва искрится вещими стихами
об искренности, о грядущем Хаме,
сидит во тьме забытый шумеролог,
по ЦУМу бродят толпы богомолк.

Чуть видимый неведомый кораблик
над городом разбрасывает грабли,
но кажется, на Землю слёзы льёт он
без божества, без жизни, без пилота.

На Савёловском вокзале

Мы жили на Савёловском вокзале,
случайные, запуганные люди.
В Патриархии нам тогда сказали,
что поезд обязательно прибудет.

Смотрела подозрительно охрана,
как бегали измученные дети
и жадно пили воду из-под крана,
а мы носки стирали в туалете.

Надеялись заткнуть судьбу за пояс
все сборища духовных погорельцев
и ждали много лет волшебный поезд,
чтобы умчаться по весенним рельсам

туда, где Солнца нет, но свет повсюду,
где ни болезни нет, ни воздыханья,

где нежная саксонская посуда
стоит на разноцветном дастархане.

Как тихо на Савёловском вокзале,
давно ни поездов, ни пилигримов.
Все толпы незаметно разбежались,
а тепловозы укатили мимо.

Охраны нет, закрыты туалеты,
с кривой улыбкой прыгают вороны.
Лишь Витька Коронкевич бродит где-то
по древним развалившимся перронам.

* * *

Студенты Тимирязевки хмельные
Нечаянно сожгли библиотеку.
Как весело горел Умберто Эко,
Писатель Каблуков и остальные.

Земных ветров холодное коварство
Из каждой искры раздувало пламя,
Но где-то в небе полыхал над нами
Огонь иных миров, иное Царство.

В поездке за последними дровами
Уже гремит пустая колымага.
Весь мир сгорит, напичканный словами,
Останется палёная бумага.

И только мы с Козлёнком, всё равно,
На рейнских скалах будем пить вино.

Баллада о сгоревшей библиотеке

История шестнадцатого века
наполнена слезами даже слишком.
У Грозного сожгли библиотеку
на радость всяким смердам и людишкам.

Ревел белугой государь великий,
когда смотрел, как полыхали книжки,
но тут же перехожие калики,
торговцы, скоморохи и ярыжки

повизгивали, будто от оргазма,
пока тупой огонь сживал со света
памфлеты Роттердамского Эразма
и письма королевы Лизаветы.

Казнив бояр пятнадцать или двадцать,
несчастный государь в тоске тяжёлой

поехал в монастырь для медитаций
по методу Игнатия Лойолы.

Игумен Сергей основал обитель
среди полей холодных асфоделей.
К его стопам расстроенный правитель
припал и что-то шамкал еле-еле.

Игумен встретил Грозного, как сына
и говорит: «Уйдём в поля забвенья,
заблудимся, забудем и простим их,
кто нам принёс разор и униженья».

Они ушли, игумен вместе с Грозным,
навек ушли из монастырских келий
и растворились в воздухе морозном
под еле слышный шёпот асфоделей.

В тот миг, закрыв полупрозрачно веки,
они познали врачевство покоя.
Им не нужны теперь библиотеки,
полтинники, лещи и всё такое.

ИНТЕРМЕЦЦО 2

* * *

В моём саду пурга и хаос,
на шаг не видно ничего,
но ты проходишь, как Нейгауз,
по саду сердца моего.
Твоя тропинка без извилин
ведёт неведомо куда,
над ней летает птица-филин
и манит пальцем иногда.
В какие дали манит птица,
о чём ушами шевелит,
за чем гонец пернатый мчится,
как электрический гоплит?
Тропа ведёт к роялю сердца,
который спрятали в саду.
Железных квинт и нежных терций
ты там исполнишь череду.
Тебя почуют струны-вены,

чьи голоса давно молчат,
они откликнутся мгновенно
и задрожат, и зарычат.
Вокруг рассядутся фанаты,
как на деревьях снегири,
и станешь ты играть сонаты:
семнадцать, восемь, двадцать три.
В мечте о вечном фа-диезе,
который более всего,
ты спелеологом полезешь
в пещеру сердца моего.
В пустой пещере, в царстве мрака,
где Стикс петляет и шумит,
мы повстречаемся, однако,
как сталактит и сталагмит.

Река

Пока

не отпускает нас река.

Она, которой мост безмерно длится,
из брызг ваяет образы и лица,
кричит кошачьим криком канюка.

Река

во сне приходит в виде продавщицы,
щекочет ноздри прутиком слегка,
уходит, исчезает на века
и снова снится, бесконечно снится.

От нас не остаётся ничего,

не остаётся даже половинок.

Сквозь камни пробивается барвинок,
не наступи случайно на него.

Река

несёт на север рыбью суету
туда, где гаснут водяные свечи.

Старинный карп зеркален и беспечен
с украденной жемчужиной во рту.

Река

остывшею водой прозрачно плещет,
в тумане растворяя красоту.

Как много их рассталось на мосту,
стальных мужчин и невозвратных
женщин.

Речной трамвай крадётся под мостом,
как наше расставанье, неизбежный,
печально шелестит камыш прибрежный,
прощально щука хлупает хвостом.

Уходит вдоль реки смешной походкой,
дрожащею походкой старика
слепой Хранитель, потерявший лодку.

Но нет, не отпускает нас пока
твоя река.

* * *

Вислогубый старик,
многоликий, как парк Серенгети,
покровитель черник,
поедатель еловых спагетти,
с голубой головой,
с поэтической фамилией Хайкин,
бесконечно живой,
он обходит лесные лужайки.

По болотным стезям
кулики одинокие бродят,
шлют далёким друзьям
отголоски неясных мелодий.
Этот грустный мотив
даже волка недоброго тронет.
«Милый друг, приходи!» —
безответная птица долдонит.

Одинокий кулик
мог бы рыбу клевать, но и то нет,
как собака скулит,
как израненный Мусоргский стонет.
Вислогубый старик
в сотый раз возмущается этим.
Я, кричит, не привык,
чтобы плакали птицы и дети.
Я, кричит, не таков,
я с нахальством мириться не стану
и сердца куликов
не позволю взбивать, как сметану.
Чтоб исчезла тоска,
новый способ придумал теперь я —
всем надеть куликам
лебединые белые перья.
Кулики сей же час
улетают к принцессе Одетте,
ей направлен приказ,
в белоснежные перья одеть их.

Посмотри, наш кулик,
грациозный и лёгкий, как Моцарт,
тонконог, сребролик,
по болоту идёт и смеётся.
Вся природа поёт,

даже волки поют втихомолку,
мелкий рыжий енот
залезает от счастья на ёлку.
Нежно гладит карась
на воде задремавшую чайку,
а старик, вдохновясь,
сочиняет бессмертные хайку.

Как же радостен мир,
где родные клювастые лица.
Под звездой Маир
будем славить его и молиться.
А звезда нашу жизнь
освещает чуть видимым светом,
что-то хочет простить,
искупить что-то хочет, но где там...

Слонорыбов и мясопотам

Был человек Герасим Слонорыбов,
он зимовал на берегу залива
в большом шатре, похожем на ежа,
а по весне в приладожских болотах
задумчивый бродил он в чёрных ботах,
от холода весеннего дрожа,
в надежде отыскать мясопотаму,
который, как Сидхартха Гаутама,
врачует души, ходит по воде,
дарует радость, прогоняет страхи,
сидит под ивой в розовой рубахе,
но тридцать лет не мог найти нигде.

И вот в году две тысячи четвёртом
сказал он сам себе: «Какого чёрта?
Проходит жизнь, а шанс мой слишком
мал».

В отчаяньи тогда он рухнул наземь,
и двое суток всхлипывал Герасим,
и комья глины пальцами сжимал.
На третий день вдруг заскрипели
скрипки,
в болотной глубине запели рыбки,
пронёсся свежий ветер по кустам,
взлетели на шоссе автомобили
и ангелы на небе затрубили,
и вышел из кустов мясопотам.

Мясопотам шагал, расправив крылья,
в одной руке держал он «Сильмарильон»,
другой рукой приветливо махал.
Он обнял Слонорыбова как брата,
назвал его ослом придурковатым,
и мирт у ног его благоухал.
Мясопотам был молод и наивен.
Он поклонялся Одину и Шиве,
не забывал всесильную Иштар,
смотрел футбол, заигрывал с кунницей,
на остров Коневец ходил молиться,
любил жуков, под соусом тартар.

Тогда мясопотам взошёл на кочку
и, разорвав земную оболочку,

взлетел, над кипарисами паря.
Пока он кувыркался в поднебесье,
Герасим гимны пел, красив и весел,
он ощутил, что жизнь была не зря.
И смерть пришла, и ангелы трубили,
езде грузины ели чахохбили,
какой-то горец надкусил хычин,
и радость растекалась по болотам,
народы ликовали, только кто-то
слезу ронял без видимых причин.

В поля!

Стоит в заброшенном цеху
двухшпиндельный станок.
Он превращается в труху,
угрюм и одинок.
А город мёртв, и нет людей,
и всюду пустота.
Один остался прохиндей,
похожий на кота.
Он говорит: «Я Карл Шестой!»,
усами шевеля,
на главной улице пустой
играя короля.
А все ушли в луга, в поля,
в зелёные овсы.
Там птичий грай, полёт шмеля,
жужжание осы.
Какой-то мелкий бурундук

купается в траве.
Наш добрый друг большой индюк
стоит на голове.
Я в предрассветные часы
гуляю налегке.
Бутылка жидкой колбасы
и булка в рюкзаке.
Лениво днём лежу в тени,
по веткам ходит рысь.
Цветут задумчивые пни,
гирлянды тянут ввысь.
Летают тёплые ветра
по средней полосе.
О, жизнь, достойная пера
маркиза Кондорсе!

* * *

Из-за Свияги ветры злые дуют,
Шакалы воют, волки негодуют,
Орлиный клёкот, уханье совы,
Термиты говорят: «Идём на вы».
В глухом лесу, в далёком Засвияжье
И там, и тут стоят колонны вражьи.

В столицах всё иначе, там толпа
Бежит смотреть на мёртвого попа.
Торопятся пузатые альтисты,
Красавицы, чьи веки серебристы,
Эсперантисты, энциклопедисты
И прочие народные артисты.
Бежит по деревянной мостовой
Мужикинэ с немытой головой.
Он просит, чтоб Архангел Сихаил
От злобной трясовицы излечил:
«Архангел Сихаил, скорей приди,
От трясовицы нас освободи!»
Плясун канатный скачет над толпой.

Старухи верят, будто он слепой,
Надеются, что рухнет на асфальт
Эпично, как прокофьевский Тибальд.

А мы из-за Свияги никуда.
Там тёмный лес и тёмная вода.
Там бабочка, преследуя клопа,
Порхает, как в балете Петипа.
Там жил недавно леопард Мефодий,
Рычал, пугал младенцев, колобродил.
И был он на пути своём коротком
Влиятельней, чем канцлер Безбородко,
Пока один охотник из Казани
Ему не уготовал наказание.

Так и живём, не видя синевы,
Похлёбку варим из разрыв-травы.
Но всё же лучше, чем среди барханов,
Где странствовал несчастный Валиханов,
И лучше, чем в Нью-Йорках и Парижах,
Где, обгоняя толстых дам бесстыжих,
Мужикинэ прыжками шимпанзе
Бежит по мостовым Шампс Элизе.
Куда, куда мужикинэ бежит?
Какой огонь в глазах его дрожит?

Грузди

Вот перед вами встаю на колени я.
Знаю, как вам нелегко под осинами.
Грузди учёные, ваше томление
выразишь разве словами бессильными?

Где-то Бродвей с огоньками манящими,
где-то модели выходят на подиум.
Жизнь элегантная, жизнь настоящая,
не даровал вам суровый Господь её.

Каждое утро медведица шастает
взад и вперёд с четырьмя медвежатами.
Прыгают без толку зайцы ушастые,
вечно от глупого страха дрожат они.

Мрачный медведь орошает под вечер вас.
Как преподашь этикет косолапому?

Брызжет струя, но ответить вам нечего,
только стоять и покачивать шляпами.

Грузди разумные, черви нахальные,
осень холодная, песни унылые,
мысли печальные, сакраментальные,
злая судьба, кабаны мохнорылые.

Белки сервильные, волки голодные,
ветер задиристый, ветки качаются.
Между собой разговоры бесплодные
длятся всю жизнь, никогда не кончаются.

ЧАСТЬ 3

* * *

храпел в сениях погонщик бородатый
он спал и видел сны о чём-то тёмном
встречали Новый год и было тихо
в лесной избе в далёком Засвияжье

под тиканье часов мы разливали
шампанское в гранёные стаканы
и слышали как ходит караульщик
как свежий снег скрипит под сапогами

нам было бесконечно одиноко
и каждый думал хорошо что все мы

издалека неярко освещали
избу и лес рубиновые звёзды

* * *

Ходит песенка по кругу в лесу,
воют волки, подражают Алсу.
По-над насыпью гудят провода,
ни тропинки не найти, ни следа.
Рассчитались на первый-второй
и проведали, кто враг, кто герой.
Может, утром принесут монпансье,
будут сладкое сосать, да не все.
Пели песни всё про БАМ, да про БАМ,
а под утро разбрелись по гробам.

Прощания в Саранске

Мордовия, Мордор, зима,
прощания в сонном Саранске,
приказ твоих глаз хулиганских,
рассерженных птиц кутерьма,

опилки, окурки и тьма,
тоска привокзальных буфетов.
Буфетчиц хромых менуэты
терзают и сводят с ума.

Не греет сомнительный чай,
ползёт кто-то мелкий по телу,
Норейка поёт тарантеллу,
прощай, моя радость, прощай.

* * *

Ты так любила песню про щегла.
Её калеки пели у вокзала.
Толпа под зимним ветром замерзала
И слушала. Но плакать не могла.

А ночь текла из каждого угла,
Темнели разорённые кварталы,
Чуть колыхались ветки чернотала,
С больных деревьев капала смола.

Художники, воители, артисты,
Охотники, творцы, авантюристы,
Как потускнели наши города.

Здесь улицы безлюдны, кошки серы,
Слова пусты, невзрачны интерьеры,
И музыка исчезла навсегда

Ночные люди

Они бредут. Зима кусает щёки.
Глухая ночь. Тулупы, зипуны.
В полях бескрайней снежной целины
Как много их, скитальцев одиноких.

Взойдёт когда-то солнце на востоке,
Коснётся спящей сумрачной страны.
Ночные люди будут прощены
И превратятся в пар на солнцепёке.

Пока идут. Куда, никто не знает.
Что гонит их? Забытый старый грех?
Слепая сила, тёмная и злая?

Давно на шапках вылез пёсий мех.
Черны одежды. Вата из прорех
На чистый снег клоками выпадает.

* * *

Среди полей Кузбасса и Донбасса,
ржаных полей, родных и нарочитых,
полковники Кудасов и Дубасов
посеяли очитник и очиток.

Чудесные цветы нам счастье дарят,
а многие зовут их сорняками
и распускают слухи на базаре,
и тянутся немытыми руками,
и ночью рвут очитник и очиток,
а днём на перекрёстках мутят воду,
но маршал Коц обязан проучить их,
что память легендарных цветоводов,
чей скорбный путь был труден
и несладок,

они бродили по полям суровым,
искали место для своих посадок,
всегда теряли, но искали снова.
Парное молоко несли коровы,
большие вёдра ставили к ногам их,
Им пели песни птички-реполовы
и в такт себе махали хохолками.
Потом их пристрелили беззаконно,
как дедов убивали под Берлином.
Двенадцать звёзд светились на погонах,
а сапоги сверкали гуталином.

Теперь здесь обитают птичьи стаи,
костры горят, в полях поют цыгане,
земля целует небо, расцветают
очитник и очиток на поляне,
а с ними зефирантусы и маки,
а с ними обезьяны и собаки,
и тут Валерий Гергиев во фраке,
и с ним отважный лётчик Коккинаки.

Так вспомним всех героев поимённо,
они не испугались псов и пыток,
они прошли сквозь выстрелы и стоны,
чтоб расцвели очитник и очиток:

полковники Кудасов и Дубасов,
майоры Наливайченко и Квасов,
сержанты Уркунчиев и Протасов
и рядовой Василий Ганжубасов.

Сказочное

Братец Иванушка каждый вечер пил
из копытца.

Стал он теперь не улыбочивым злобным
козлом Ардальоном.

Бедная девушка плакала, дважды ходила
топиться,

Но успокоилась, кормит козла чемерицей
и горьким паслёном.

Как-то к сестрице влетела в окошко
прекрасная птица,

Спела песню о том, что чёрное царство
скоро исчезнет.

Снова сестрица увидит святые красивые
лица,

В мире не станет вранья, колдунов
и болезней.

Песню услышав, сестрица схватилась
за веник,
В горнице пол подмела, под окном
посадила ромашки,
Сбегала в хлев, накормила козла
земляничным вареньем,
Так веселилась весь день, что разбила
кофейные чашки.

Мрачный козёл землянику жевал
равнодушно.
Сладкое он не любил, предпочёл бы
зелёный горошек.
В этом сарае ему, как всегда, было
скучно и душно.
Кроме того, он страдал от противных
назойливых мошек.

В бункере злой властелин не смежает
уставшие веки.
Птица поёт о прекрасном, почти каждый
день прилетает,
Крылья сложив, восседает на бюсте
Сенеки.
Нежно звучит её голос и в воздухе тает.

Косоротов

Вся полегла пехота
Среди кембрийских глин
Но выжил Косоротов
Сибирский исполин
Опасный как гаррота
Красивый как павлин
А там за поворотом
Лежит страна Динлин

И вот он у границы
Неведомой страны
Вокруг хохочут птицы
Безумствуют слоны
Костры его амбиций
Давно погребены
Кому теперь молиться
Какие видеть сны

Он расставляет пушки
Развёртывает стяг
И держит всех на мушке
Разнузданных бродяг
Динлинские пастушки
Танцуют краковяк
Поют свои частушки
А кто-то с ветки бряк

Но знает Косоротов
Что всё предрешено
Плеснёт он на ворота
Зелёное вино
И Маргарет фон Тротта
Придёт снимать кино
И будет плакать кто-то
Бессильно всё равно

Агаша

Пахло болью и скукой,
Пахло жареным луком,
Пахло нашей разлукой
И холодной войной.
День был глуп и беспечен.
Ты вернулась под вечер
И всадила мне в печень
Амфибрахий стальной.

Ты рисуешь, как Джотто,
Ты играешь на кото,
Даже в Лондоне кто-то
Восхищался тобой.
Твой анапест искрится,
Амфибрахий, как спица,
И вот-вот завершится
Наш бессмысленный бой.

Мух в зелёном жилете
Восседал на котлете,
Чьи-то плакали дети
За фанерной стеной.
Стыла пшённая каша.
Было больно и страшно.
Ты смеялась, Агаша,
Как всегда, надо мной.

Антощук с дядей Валею
По квартире сновали.
Эти люди едва ли
Нам желали добра.
Из-за кровопотери
Я был слаб и растерян,
И потухло над дверью
Наше старое бра.

Сделав чёрное дело,
Ты пирожное съела
И, ругнувшись умело,
Забралась на кровать.
Я сказал, тихо плача:
«Ты селёдка и кляча!» —
И, от боли корячась,
В ночь уполз умирать.

Кульмаметьев

Мне сказал красавчик Кульмаметьев,
Тот, который ходит в картузе:
«Счастье, Саша, это дело третье,
Вроде финтифлюшек и безе».

Помню, как ещё в начальной школе
Говорила нянечка Фатма: «Счастья нет,
но есть покой и воля,
Смерти нет, но есть печаль и тьма».

Нас лечили пальцем и железом,
Били в гардеробе по зубам,
А директор съёмные протезы
Прикрывал плакатами про БАМ.

Был такой убийца Ричард Третий.
Он, по полю битвы семеня,

Тщетно жаждал человека встретить
И отдать корону за коня.

А теперь гроссмейстер Рихард Рети
Растворился в вязкой тишине.
Он сидит, закрывшись в туалете,
Плачет об утраченном коне.

Скарлатина бродит по отелю,
Призраком таится по углам,
На постель роняет иммортели,
Все надежды превращая в хлам».

Журавли покрикивали где-то,
Шифер монотонно падал с крыш,
На камнях сидели два поэта,
Воду равнодушно нёс Иртыш.

Мы на полустанке Волчья Память
Пили мутноватый самогон.
Кульмаметьев книги мне оставил:
Чехов, Фихтенгольц и Арагон.

В тот же миг он обернулся мышью,
Сохранив былую красоту,
И ушёл куда-то в Заиртышье
По автомобильному мосту.

Как-то мы в Батуми на базаре
Встретились спустя немало лет,
Выпили бутылку Мукузани,
Съели по две порции котлет.

На меня картуз он нахлобучил,
Обнял и похлопал по плечу.
«Я, — сказал он, — превращаюсь в тучу.
По Земле шататься не хочу».

Перцы, кориандры, олеандры
Шелестят подмоченной листвой,
В сером доме не стихают мантры,
В поле не смолкает волчий вой,

Незаметно подрастают дети,
На дубах бесчинствуют клесты,
Плავает по небу Кульмаметьев,
Истинный апостол красоты.

Ежевика

Коридоры всё длятся и длятся, пустые,
унылые —
повороты, развилки, секретные закоулки.
Только гнёзда летучих мышей высоко
под стропилами,
только эхо тяжёлых шагов отзывается
гулко.

Поэт Водовозов служит в тюрьме
надзирателем.
Лицо его грустно всегда, потому что
настало
тоскливое время — поэты свободу
утратили,
штампуют стихи однотипные, блёклые,
вялые.

А в тюрьме где-то варят кукнар, где-то
в карты сражаются,
то ли смех за дверями звучит, то ли
катятся слёзы.
Не вдаваясь в подробности, с сердцем,
исполненным жалости,
ночь за ночью с дубинкой идёт мимо них
Водовозов.

Как обычно, из камеры восемь доносятся
крики.
Появляются, будто во сне, непонятные,
странные образы:
сад запущенный, бабочка, солнце, кусты
ежевики —
облаками теснятся они в голове
Водовозова.

Вырастают слова из небесного слова
единого,
так бывало всегда и везде у поэтов
великих.
Он идёт мимо камер, играя дубинкой
резиновой,
и бормочет чуть слышно: «бабочка, куст
ежевики».

Где-то падают с веток в траву
краснобокие яблоки,
равнодушное солнце бросает прохладные
блики,
в лёгком танце осеннем кружит одинокая
бабочка
над последним, неплодным, засохшим
кустом ежевики.

Исчезает тюрьма, еле слышно бормочет
свой стих он
в том саду, где так тихо, где так
ослепительно тихо:
«Ежевика, сестра, ты ведь слышишь меня,
ежевика.
Ежевика, сестра моя, дочка моя,
ежевика».

На берегу

На берегу остался один Полупанов,
по вечерам ступни его нежно прилив
ласкает,
понимать научился выкрики чаек, язык
пеликанов,
мидии — пища его да трава морская.

Все исчезли, Полупанов стал частью
природы,
правило Лопиталья забыл, теорему
Лагранжа.

В мелких лужах после дождя ищет
пресную воду,
а во сне давно не приходят нежные
великанши.

Вот дельфин вылезает из моря во время
отлива,
у него вырастают короткие лапы,
плачет, бедняга, о доле своей
несчастливой,
в этом мире сухом он остался без мамы
и папы.

Зайцем ему надо стать, медведем, потом
павианом,
мрачной гориллой и, наконец,
человеком.
Путь очень длинный, мучительный,
глупый и странный —
вновь добиваться того, что дельфины
имели от века.

Снова придётся доказывать правило
Лопиталя,
а он не умеет пока водить пером по
бумаге.
Столько лишней работы, ведь в море всё
доказали
Гаусс дельфиний и академик Понтрягин!

Полупанов уходит в море, охотится
на селёдок,

изучил пути и повадки селёдной стаи,
стал дышать под водой, заострился его
подбородок,
много дней может плыть, как рыба,
не уставая.

Час тишины наступил, дремлет планета
седая,
будто исчезли из этого мира птицы
и звери.
Нет никого, только с неба Господь
наблюдает,
как волны одна за другой выбегают
на берег.

Фома Шиloxвостов

Фома Шиloxвостов выходит на берег
великой, но мелкой реки.

Она катит воды куда-то на север, где
спят беспробудно сурки.

На севере лес, бесконечный и страшный,
на севере вьюги порой.

Зачем тебе север, опомнись, дурашка,
хотя ты, конечно, герой.

По северу бродит одетая в шкуры
норвежская дикая рать.

На севере злые рычат козлотуры, хотят
твою печень сожрать.

Фома Шиloxвостов берётся за вёсла,
на время забыв геморрой.

Он хочет добраться до города Осло, где
царствует Хокан Второй.

Готов умереть он красиво и гордо,

где встретить бы смерть ни пришлось,
но прежде увидеть чудесные фьорды,
когда в них резвится лосось.
Как больно смотреть на родную природу,
где лес поедает жуки.
Как тягостно пить мутноватую воду,
в которой живут червяки.
На стенке бумажная «Смерть комиссара»
и «Утро в сосновом лесу».
В заброшенном клубе тоскует Варвара
и в горе срезает косу.
Фома Шилохвостов гребёт, невзирая
на стужу и дождь ледяной.
Он может, достигнув окрестностей рая,
услышать богов за стеной.
У нашей постели стоят санитары,
струится веков череда.
По выселкам скачут монголо-татары,
но сами не знают куда.

* * *

«Всё есть вода, и всё полно богов», —
сказал когда-то генерал Никитин,
который после смерти стал налимом,
и в мудрости с ним не могли сравниться
ни рыба-меч, ни вёрткая мурена.

Налим Никитин и муксун Борисов,
беседуя, плывут по Индигирке,
за ними луннотелый лещ Сергеев
записывает мудрые реченья,
внимательный, подобно Ксенофону.

Сергеев прежде был саксофонистом,
он к мудрости при жизни не стремился,
а только дул и дул в свою железку,
теперь боится упустить хоть слово
великого и мудрого налима.

Никитин ставит хитрые вопросы,
Борисов отвечает, но неверно
нашим противоречия вскрывает,
и так приходят к истине совместно.

По берегам холодной Индигирки
в козлиных шубах бродят рыболовы.
Никитин их уловов не боится,
поскольку был убит в далёком Конго,
а дважды умереть никто не может.

Вовек блаженны алчущие правды,
в прозрачных водах ищущие мудрость,
нашим, плывущий по реке, постигшей
все бездны человеческих прозрений,
его ученики — муксун Борисов
и лещ Сергеев с ручкой и блокнотом.

* * *

Мои стихи наивны и просты.
За это злобный критик их ругает.
Стихи чисты, как заячьи хвосты,
Их любят дети, любят попугаи
И полуголый нищий идиот,
И девочка, плетущая колбаски,
И русский наш задумчивый народ,
Тоскующий по проданной Аляске.

Бывало, дядя Мотя звал гостей,
Они за стол садились, и нередко
Мои стихи малютка Розенштейн
Выкрикивал, взойдя на табуретку,
И каждый гость тянулся за платком,
И пили херес местного разлива,
Звучали песни обо всём таком,
И вечер был разморенно-счастливым.

Но жив доитель изнурённых жаб,
Торгующий прелестными стихами,
И женщина, сорвавшая хиджаб,
В мечте о новом совершенном Хаме.
И критик, и доитель, и жена,
И некто в сером, жаждущий чего-то,
Их суэта поэту не важна,
В других мирах рассеянно живёт он.

Блажен поэт, похожий на косца
В лугах зелёных кисти Левитана.
Нежны черты поэтова лица,
Ещё нежнее сливки, и сметана,
И масло, и парное молоко,
И добрая рязанская корова,
И на сердце так тихо, так легко,
И стих звучит, как нежный вальс Петрова.

* * *

Девочка, плетущая колбаски,
Сидя возле дома на коробке,
Мальчик, проезжая на коляске,
Взгляд ловя потерянный и робкий,

Старичок, играющий на флейте,
Греческими буквами влекомый,
Одноногий по узкоколейке,
Вежливый, холодный, незнакомый.

Жаркий воздух, летняя истома,
Сливы созревают, можно есть их.
Девочка семь тысяч лет у дома,
Сидя на коробке белой жести.

Будет день, все вещи сбросят маски
И уйдут в холодную нирвану.
По земле разбросаны колбаски.
Старый грек играет Телемана.

Прохожие

Два старых бородатых человека
По шаткой мостовой бредут куда-то.
Никто тех стариков не замечает.
Они одеты просто и без шляп.

А это Циолковский и Чайковский
Бредут себе, неспешно рассуждая
О будущих полётах на Юпитер,
О музыке таинственных планет.

Рождаются миры в их разговорах,
И люди вырастают, как петрушка.
Бурлят и нежно плачут увертюры,
И вертится огонь на языках.

О, это не простые оборванцы,
И вспомнит благодарная Россия
Когда-нибудь, пускай не слишком скоро,
Пророческие песни и слова.

Парыгин

Приходил философ Парыгин,
Говорил прекрасные вещи.
Я не понял тогда ни слова,
Только тихо плакал от счастья.

Тихо ёрзала девочка Марфа,
И собачка ёрзала тоже.
Остальная Земля застыла,
И стрижи застыли в полёте.

Вот ушёл Парыгин-философ,
Растворился, исчез в тумане.
Но казалось, звучит его голос,
И парят его тонкие пальцы.

Я сидел счастливый и мягкий,
И тогда влетела бестактно
Пресловутая муха Камала
С неуместным глупым жужжаньем.

В Буинске

В Буинске издревле не чистят сортиры,
Туда козлоногие ходят сатиры.
А мы по полям и оврагам расселись.
О, русской природы неброская
прелесть!

Таинственный свет по Буинску струится,
У жителей города светлые лица.
Нетварные звёзды висят над рекою.
Вы в жизни своей не видали такое.

Таинственный свет по Буинску струится.
В гостинице «Ландыш» туристам
не спится.
Философ Курносов и дьяк Ломоносов
По улицам ночью кружатся белёсым.

Они на Кирилловской и на Дегтярной
Увидели свет голубой и нетварный,

И вот самоучка философ Курносов
Отвечил на восемь проклятых вопросов.

Корябает что-то Курносов в тетрадке.
Он все разрешил мировые загадки.
Как раз заполняет восьмую страницу.
Таинственный свет по Буинску струится.

Где некогда Федька сидел Шакловитый,
Пекут эчпочмаки в кафе «Дольче вита».
Татарин его основал Хабибулин,
Рецепт в сундуке отыскавший бабулин.

В оврагах буинских живут псевдозайцы.
Прозрачные лошади там подвизаются.
Идёт псевдозаяц, ругается смачно,
И лошадь бежит абсолютно прозрачна.

* * *

И всё же мир разумен и прекрасен.
Клубится пар, и разум возмущённый
в трубе водопроводной закипает.
Гаруспики выходят из подвала,
любезные, со шведскими ключами,
гадатели по печени бараньей.
Кипит вода в трубе водопроводной.
Гаруспики в индиговых костюмах
смеются и потягивают граппу.
На третьем этаже философ Мухин
ругается, крутя впустую краны,
вскрывает вены безопасной бритвой.
На первом этаже шалунья Иза,
на пятом этаже майор Пегасов —
ни к одному вода не поступает.
А где-то там, в неведомой пещере,
стоит святой Антоний на коленях

и молится за каждую букашку,
за тараканов, в темноте бредущих,
за бедного в Москве пенсионера,
за правильный наклон Пизанской башни.
Он просит, чтобы войны прекратились,
чтобы вода не иссякала в трубах
и печень у барана не болела.

Кисловодск 1978

Гречанка старая для нас топила сало.
Быть может, только это и спасало.

В кустах картошки около реки
Плодились колорадские жуки.
Шакалы ночью выли, было жутко
Идти пешком до станции Минутка.

Нарзан сочился сквозь любую дырку,
Как утренний мужик, рычал и фыркал.
А вечером уставшие прорабы
Сползались к ресторану, будто крабы.

Я часто вспоминаю это лето —
Бетон, канцерогенные котлеты,
Гречанку старую, её сухие шкварки,
Её язык бессмысленный и жаркий.

Подкумок рыл пути в окрестных скалах.
Он смыслы потерял и там искал их.

И белоснежный грушевый овал
Бессовестно над крышами вставал.
Мне было двадцать лет. Я так хотел их,
Бесстыжих, спелых, белых, мягкотелых.

* * *

Россия, мы найдём тебя когда-то.
Твой памятник безногому солдату
разыщем на забытом полустанке,
где женщины, огромные, как танки,
сидят с утра до вечера на шпалах
в смарагдах, изумрудах и опалах,
две сакуры стоят, как две девицы,
расставив по окружности копытца,
и на путях весёлые цветочки,
и на ладонях розовые точки,
гигантские охотничьи собаки,
написанные школой Андрияки,
в холодном зале одинокий зритель —
хулитель, мироед, благотворитель,
террасы, терриконы, терренкуры,
неведомые древние культуры,
безглазые молчащие тотемы,

беседы на таинственные темы,
изысканные кактусы ночные,
изнеженные голуби ручные,
заманчивые заводи речные,
картофельные лица сволочные.
Четыре желтоватых парадигмы
увидим удивлённо в этот миг мы,
парящими в сибирском небе синем,
и скажем: «Мы нашли тебя, Россия».

Родина

Вот выхожу на улицу, времени больше
нет.
Из-за кустов бузульника слышится звон
монет.
Там курильщики синие, тут игроки
в маджонг.
Это моя Россия — милый, родной
Гонконг.

Тут, за грехи покаявшись, тихо ползёт
генерал,
А тишина такая, что хочется петь хорал.
Там, за стеной, по клавишам лупит
Телониус Монк.
Это Россия-лапушка, мой дорогой
Гонконг.

Там, где гриб подосиновик приникает
к ногам,

Нежно хрюкают свиньи, грозно рычит
кабан.

Рядом щебечут девушки, похожие на
японк.

Вечно живи Расеюшка, милый, родной
Гонконг!

ИНТЕРМЕЦЦО 3

* * *

Последняя прозелень осени.
Электрики дроссели бросили,
ушли за таинственным светом
по старой смоленской дороге.
Уже холода на пороге.
Любимый, мы встретимся летом.
На солнышко выйдет из мрака
и тронет до слёз кабаняка
своей красотой неброской.
Вокруг расцветут гладиолусы,
и ангел расчешет нам волосы
большой шоколадной расчёской.

* * *

Я не забуду тебя, Крысуля,
я не забуду тебя, красотка.
Из белых лилий, цветов пачули
и тамариска твой образ соткан.
Твои друзья на меня сердиты,
сурово смотрят в разрез прицела,
вот-вот прикончат меня, бандиты,
чего ты втайне всегда хотела,
когда поила древесным спиртом,
а говорила, что это водка,
и подавала несвежий сыр ты,
покрытый плесенью, как бородкой.
Зелёный лес опускает плечи,
темно и страшно в лесу еловом.
Стуча зубами, иду навстречу
кривым, недобрым, звероголовым.
Я знаю точно, врагам не спится.

Среди ветвей затаясь во мраке,
сидят Ефим с головой лисицы
и Константин с головой собаки.
Твои друзья Константин с Ефимом
по воскресеньям всегда нетрезвы.
Быть может, выстрелят снова мимо,
и добегу я до лодки резво,
и вспомню наши святые лица
когда-то в баре на Ленинштрассе,
как мы мечтали о Биарицце
на кочковатом худом матрасе,
как ты любила и целовала,
как запирала бидон рассола
и плесневелый мне сыр давала
со странным именем горгонзола.

* * *

Не Бог тебя создал, Мари. Я, наверное,
с детства был пьяным.
Я шёл за тобой по траве, по развилкам,
по мёртвым полянам.
Как быстро стемнело, слилось
с темнотой светло-серое платье.
Ветвями закрыли луну от меня твои
тёмные братья.
Мне было всегда, но скажи, почему мне
всегда было хуже.
Твой образ исчез, только запах,
как память, носился над лужей.
Бескрайняя лужа, она холоднее,
чем Белое море,
В ней плавают бледные лодки, алкают
иных траекторий.

Не Бог тебя создал, Мари, тебя создал
Филипп Сорчинелли.
Я знал, но цикады звенели, стволы твоих
братьев чернели.

Осьминог Венедикт Коляскин

Осьминоги обычно ведут себя
сдержанно,
Целый день в одиночестве плавают где-то
И только, если очень рассержены,
Выпускают жидкость тёмно-синего цвета.
Казнятся потом и страдают, что запах
у жидкости мерзкий,
Сидят под камнем, пока не иссякнет
досада,
Но у каждого за первым плечом стоит
Аполлон Бельведерский,
За восьмым — танцует Дионис с лозой
винограда.

В Японском море, в больнице святого
Эгидия,

Работал фельдшером осьминог Венедикт
Коляскин,
Пострадавшим кальмарам, креветкам
и мидиям
Накладывал по необходимости марлевые
повязки.
Он был необщителен, сух, и никто не
любил его.
Появлялся в обществе довольно редко.
Но однажды, послушав какого-то бойкого
дилера,
Попробовал розовую таблетку.
В то же мгновение понял, что жизнь
скучна и убога,
Состроил соседским старушкам какую-то
рожу зверскую
И, что совсем не свойственно
осьминогам,
Стал показывать всем ротовое отверстие.
Арфу купил потом у дельфина Ролдугина
И песню любви затянул вдохновенно
и страстно,
Соблазнял осьминожиху Марфу
чудесными звуками.
Эту Марфу он с детства любил, но боялся
признаться.

«О Марфа, первая красавица
осьминожьего царства!
Когда ты проплываешь мимо, готов
упасть на колени я.
Счастье моё и радость безмерная —
Марфа.
Тебе, о весна, тебе мои песнопения».
Каждый вечер кружился в вакхическом
танце,
Объявил себя не осьминогом, но белым
медведем
И цинично кричал, что они засранцы,
Недоумённо качавшим головами соседям.

Бормочут медузы и мелкие злые
креветки,
Что это воздействие химии на мозги
осьминожьи,
Но, согласитесь, в какой-то розовой
жалкой таблетке
Обнаружить талант и музыку вряд ли
возможно.
И когда вы услышите в море звук
чарующий арфы,
Когда донесётся до ваших ушей шум
экстатической пляски,

Знайте, не от таблетки, а оттого, что
плавает где-то красавица Марфа,
Поёт свою песнь под водой осьминог
Коляскин.

Порт-Морсби

Этот пароход отправляется в Порт-Морсби.

Счастливого пути, госпожа Сангинетти. Я послал телеграмму по вашей просьбе. Если она найдёт адресата, вас непременно встретят.

Вы спуститесь из каюты первого класса в соломенной шляпке с нежно-розовой лентой.

Вас узнают по ней двадцать два папуаса, подхватят багаж и потащат в сторону сэттльмента.

Вы будете слушать прибой, он нежен и тих, как Шуберт.

Вы будете вечно одна в своём дорогом отеле.

В Порт-Морсби тепло, там никто никого
не любит,
только смотрят на море и пьют голубые
коктейли.

Там тёплые ветры будут трепать ваши
щёки,
ласкать лодыжки, целовать затылок,
и вам вспоминать не захочется
Херефордшир далёкий,
полный пустынных болот и пустых
бутылок.

А я, госпожа Сангинетти, конечно, буду
писать вам,
сперва каждый день, но с годами всё
реже и реже —
на Рождество, на Пасху, на годовщину
свадьбы,
чтобы вы, мадам, не считали меня
невежей.

Стоят у воды разноцветные казуары,
глаза, как миндаль, ноги длинные и тонки.
Торговцы нахваливают товары,
разбрасывая многочисленные
трифтонги.

Голубые коктейли пьёт госпожа
Сангинетти.

Город Порт-Морсби застыл и страдает от
зноя.

Мимо отеля толпой пробегают столетия.
В солнечной дымке тают надежды и всё
остальное.

ЧАСТЬ 4

* * *

В Париж летела жаба на метле,
Но села в Чминске, кончились солярка.
В гнилой ручей упала контрамарка,
На фокинский балет в театр Шатле.

Печальный квак на горестной Земле,
Трагизм, подвластный разве что Ремарку.
Блаженные мечты идут насмарку,
Выходит волк с волчицею во мгле.

Среди пустых, заброшенных лачуг
Течёт кривая речка Безенчук,
На плавнях вечно плачет Ярославна.

Года бегут, амфибия лежит,
По берегу крадётся Вечный жид,
Нижинский где-то скачет в роли фавна.

* * *

Я жить хочу и умереть на юге,
Где так тепло и запах тамаринда,
Где голосом гортанным птица Раух
Поёт хвалу Властителю Вселенной.
Я жить хочу и умереть в той роще,
Где стрекозы полёт неодномерен,
Где над прудом твоя полуулыбка
Висит в лучах полуденного солнца.

Когда в сыром подземном кабинете
За письменным столом полковник
Пестель,
Рукой до боли сжав холодный череп,
Планирует убийство Государя,
Когда на клумбе возле дома скорби
Цветок безумно-красный расцветает,

Я жить хочу и умереть так тихо,
Чтоб обо мне не вспомнила ворона,
Когда в её гнезде на лёгкой крыше
Пробьют свои скорлупки воронята.

Казелла

С утра собрались алкаши за стеною,
Фашистские песни поют,
Ковры выбивает сестра твоя Зоя,
Наводит в квартире уют.

Урод на уроде, сексот на сексоте,
А там, по парижским бистро,
Альфредо Казелла изысканный бродит,
На барышень смотрит хитро.

А ты на сараи глядишь ошалело,
Но чувствуешь, там, вдалеке,
Изысканный бродит Альфредо Казелла
И тросточку вертит в руке.

Сестра твоя Зойка вконец оборзела,
Намазала нос огурцом,

А где-то изысканный бродит Казелла
Альфредо по парку Монсо.

Тоскливо. Из кухни воняет капустой,
Пылища летит от ковра.
Душа твоя нежная жаждет искусства,
Изящных бесед до утра,

Но жизнь мимо уха скворцом
просвистела,
А там, по бульвару Распай,
Изысканный бродит Альфредо Казелла
И дразнит тебя. Негодяй.

Ем свиную рульку на асфальте у церкви
Сен-Медар

Каштан роняет рассеянно первый
осенний лист.

Девчонку сажает бережно за спину
мотоциклист.

Слышать шаги у церкви дьякона Франсуа,
Есть картошку и рульку и не сойти с ума.
На разогретом асфальте твой нехитрый
обед.

Старая церковь сзади, времени больше
нет.

Время долго кипело и превращается
в пар.

Вечность это свиная рулька на улице
Муффтарт.

Пальцы святого Медара — чуть заметная
тень.

Вечность — последний подарок в этот
последний день.

Лёгкое облако времени, тихо шумит
фонтан.

Пьёшь лимонад апельсиновый и от
свободы пьян.

Звонкие туфли хозяек, добрые лица
собак.

Вместе с картошкой хрусткой вечность
в твоих зубах.

В небо каштан уносит слёзы Вечной
Жены.

Губы жирны от вечности, пальцы твои
жирны.

* * *

Мы смотрели на мир сквозь цветное
стекло
на холме, где творил архитектор Суффло,
где схоласты точили своё ремесло.

Как сивилла бесхитростно нам
предрекла,
плыл корабль по волне из цветного
стекла,
и стеклянная прана над нами текла.

Все спасённые были на том корабле,
все епископы, папа, мессир де Моле.
Кто-то видел, как мы затаились в стекле,

в голубой полутьме на старинном холме,
в корабле, уходящем навстречу зиме,

в древнем храме, в тюрьме, на костре,
на корме,

в ресторане «L'avant comptoir de la mer»,
в окружении добрых парижских химер.
Мы живые картинки от братьев Люмьер.

Шекспир в Париже

Парижский воздух слаще, чем ликёр.
Стоит Шекспир у храма Сакре Кёр.

Шекспир один. Весь мир лежит у ног,
Распластанный, как дохлый осьминог.

Шекспир стоит. В Париж приходит тьма,
Она ползёт с Монмартрского холма.

Ложится тень на авеню Монтень,
По ложке поедает серый день.

В тумане растворяются отель,
Коньяк Мартель, Шанель и капитель.

Шекспир один. Вчера ушёл Маршак.
Стучит в ушах маршачий лёгкий шаг.

Шекспир стоит, и некуда идти,
И некому его перевести.

Седой Маршак купается в Днепре.
Он вспоминает Сен-Жермен-де-Пре,

Шампанское, рокфор, салат латук,
Проделки многочисленных подруг.

Маршак тоскует, жизнь темна, как смог.
Хотел он быть счастливым, но не смог.

Что наша жизнь? Бурлящая вода,
Сверкнёт и исчезает навсегда.

Ночь наступает, на холме темно,
В руках судьбы жужжит веретено.

Маршак, Маршак, как плохо без тебя.
Стоит Шекспир, манишку теребя.

* * *

Мы движемся! Движемся, Боже!
Я слышу, естественный звук
становится чище и строже
пареньем старушечьих рук.
На люстре хрусталь розовеет,
за рядом колышется ряд,
вот некто подходит к стенвею,
глаза его нервно горят.
Над крышами тремоло вьются
в надежде на землю упасть,
а город восьми революций
раскрыл свою чёрную пасть.
Весь мир наполняется светом
дорийских замедленных гамм,
из маленьких комнат со смехом
выносят таинственный хлам.

Встревоженно гномы глазеют,
как сонмы ночных секретарш
играют в подземных музеях
бетховенский траурный марш.

Рай

Дворник Степаныч всё ходит с метёлкой
возле Концертгебау.

Кот Афанасий сидит под скамейкой,
изредка делая мяу.

Что наша жизнь — пустая формальность
или предчувствие рая?

Дворник Степаныч не знает об этом, кот
Афанасий не знает.

Всюду вальяжные бродят голландцы,
важно едят селёдку.

Дворник Степаныч смотрит на небо, ждёт
небесную лодку.

Дворник мечтает на солнечной барке
в небо подняться однажды.

Он потому что жаждет свободы, кот
Афанасий не жаждет.

Сколько народов исчезло бесследно,
хетты, этруски, халдеи.
Гордо ходили, ели селёдку, нынче
не встретишь нигде их.
Пёс Аненербе лежит у канала, то
заскулит, то залает.
Дворник Степаныч собаку погладит, кот
её знать не желает.
В тёмном подвале, окончив работу,
дремлет усталый Степаныч.
Кот Афанасий отнюдь не настроен сказки
рассказывать на ночь.
Вот он плывет, яснолицый Степаныч,
в небо на солнечной барке.
Кот Афанасий стоит у штурвала, словно
Гелиос, яркий.
Ездит по миру пловец Коротышкин,
ставит повсюду рекорды.
Кот Афанасий настроен скептически,
не повернёт даже морду.
Рай для кота Афанасия в прошлом —
родина, милое детство.
Он засыпает, и снятся коту жирные крысы
Донецка.

* * *

Живая жизнь подобна червяку,
А мёртвая подобна мармеладу.
Червяк ползёт сквозь чёрную тоску,
А мармелад питателен и сладок.

Кричит петух своё кукареку,
А тенор исполняет серенаду.
Ты всё изведal на своём веку,
Но обольщаться никогда не надо.

Исчезнет всё: Тарковский, Вонг Карвай,
Зелёная змея, большая ложка,
Плеск молока, изысканный трамвай.

Останутся дымы на тонких ножках,
Танцующие вечно, и гавай-
Ская гитара стонет, будто кошка.

* * *

Поэзия — последняя маслина,
Похожая на чёрного жука.
С бутылкой дорогого коньяка
Её на белом блюде принесли нам.

Двенадцать слов на языке ослином,
Корявом, непрочитанном пока.
Твоя недружелюбная рука
Зачем их начертала, Мессалина?

Комета прилетает и глумится,
Она бросает на святые лица
Холодный свет печальней, чем кларнет.

Опять ослы кружат у ресторана,
Всё тот же декламируют сонет.
Их голоса звучат довольно странно.

Ночь

Мой сюзерен, изгнанник и поэт,
одетый в гиацинтовые платья,
всю ночь один в холодном тёмном патио
танцует бесконечный менуэт.

И музыка холодная со стен
на пол цементный, не переставая,
всё падает, чуть слышная, живая,
и тут же распадается, как тлен.

Насмешнику, актёру-травести,
мне хочется пробраться на арену,
составить в танце пару сюзерену,
но в эту ночь я не могу войти.

Холодный мир увидел я воочию
который ни понять, ни превозмочь.

И так проходит ночь и снова ночь,
и ночь, и ночь, и снова ночь за ночью.

Ночь без конца. Танцует господин,
колышутся чешуйчатые платья.
Как неизбежна музыка Скарлатти,
как невозможно пахнет гиацинт.

* * *

Круассаны и крутоны, тенора и баритоны,
всё рассыпалось, как бисер баронессы
д'Эпине.

Отплясали, отгремели театральные
сезоны,
только бледный свет лягушки еле виден
на стене.

Где лягушка светит блёкло, чуть заметна
тень Патрокла,
одинок, неприятен в вечном шорохе
теней.

Во дворе у Одеона под дождём звезда
промокла,
но сияет как обычно, только чуточку
грустней.

Наши тени безымянны, наши ризы
без изъяна,
речи тихи, вдохновенны, непонятны,
далеки.
Мы собачки Цхомелидзе, мы потомки
Папазяна,
голубые обезьяны, скоморохи, дураки.

Из холодного ампира ты уйдёшь
сороконожкой.
Нынче зрительные залы оглушительно
пусты.
Тёмной книги подколодной деревянная
обложка.
Белой ясности последней обгорелые
мосты.

Последний бард

Песок и соль. Эстонская истома.
На бледно-жёлтой пустоши прибрежной
всегда один, в тунике белоснежной
последний бард Колумбус Хризостомус.

На древний каннель опуская пальцы,
рунические песни он бормочет
о викингх и девах непорочных,
о белых рыбах, о морских скитальцах.

Шуршит песок под лёгкими шагами,
на остров Муху улетели чайки,
лишь ветер извивается печальный,
невнятно вторя прихотливой гамме.

Над бледным морем солнце невесомо,
весь мир застыл, ушли куда-то люди,
никто не плачет, не живёт, не любит,
никто не слышит песен Хризостома.

* * *

по садам невидимых камней
по невоплотившейся дороге
по холодной брошенной стране
донелайтис бродит тонконогий

пара поросят в его саду
четверо шмелей в саду закрытом
медленный молчащий какаду
женщина со сломанным копытом

пара поросят в саду любви
четверо шмелей в саду страданий
тысячи с бокалами шабли
странных непроявленных созданий

день придёт и рыбы воспоют
камни на дороге рассмеются
проплывёт полынный парашют
ласточки прольют небесный уксус

сад не спит он ждёт восьмого дня
четверо шмелей застыли в танце
по опавшей кровле семеня
исчезают в небе францисканцы

облаков высокие гряды
время на потёртом старом слайде
тихие остывшие сады
нямунас швенчёнис донелайтис

ИНТЕРМЕЦЦО 4

Теология

Карл Маркс — это бог-отец.
У него на небе хрустальный дворец.
Там довольно зябко, климат сырой.
Маркс не молод, у него геморрой.
Энгельс отвечает за божеский быт,
Внушает Марксу, что тот на Земле
не забыт.
С чашкой кофе вбегает Энгельс, боится,
что опоздал.
Маркс недоволен: «Нарываешься
на скандал?
Почему опять не принёс экран?
Я хочу наблюдать за пролетариями всех
стран».
Старый знает, никаких пролетариев нет
давно,

Но заказал экран, чтобы тайно смотреть
кино,
Сериал под названием «Game of Thrones»
Про любовь Петра Великого и Анны
Монс.
Маркс возмущённо кричит и трясёт
головой.
Перхоть летит — падает снег над
Москвой.
Иногда я слышу с неба какой-то крик,
Но, думаю, мне не опасен этот смешной
старик.

Другое дело — Ленин. Это бог-сын.
В доме под мрачным куполом живёт
один.
Дядька скандальный, я закопать его бы
не прочь.
Он вроде умер, но воскресает каждую
ночь,
В полночь вскакивает, бьётся головой
в дубовую дверь,
Стонет, плачет, рычит, как зверь:
«Товарищи, товарищи! Товарищ Гильбо!
Они приходят с иголкой, и это бо-бо!
Повар готовит слишком острую еду,

Не послушали меня, оболтусы, на свою беду.

Так вот, не забудьте, что я сказал!
Будем брать сегодня Ленинградский вокзал».

Приблизительно в шесть утра
В Мавзолее появляется медсестра,
Подкрадывается к Ленину, ставит укол.
Ленин медленно оседает на пол.
Толпы китайцев ждут с утра у дверей:
«Когда же, когда откроют нам Мавзолей?»

Так и живём, но, кроме этих двух,
Есть ещё коммунистический дух,
Невидимый, но похожий на большого кота.

В этой теологии не понимаю я ни черта.
Он утверждает, что тоже бог,
Целый день сидит у моих сапог,
Любит меня безмерно, преданно смотрит в рот.
Я даже боюсь немного, что он меня загрызёт.

Всех разогнали, Москва пуста.
Я начинаю с чистого листа.

Проношусь по городу, такая вокруг
красота!
Может, устроить бассейн вместо храма
Христа?
Люди ведь любят купаться, особенно
в тёплой воде.
Стоит ли им отказывать в такой ерунде?
Спускаюсь на лифте в потайной кабинет.
Там хорошо и тихо, никаких прохиндеев
нет.
Советники рассосались, в бункере
тишина.
Никого вокруг, только я и моя страна.
Дух, конечно, сидит у моей ноги,
Ластится, лижет мне сапоги.
Разрезаю банан,
Намазываю апельсиновый джем,
Посыпаю сахаром
И ем.

Смерть товарища Чэнь Чу

На чёрном диване я
Поднимаю трубку, подпрыгиваю и кричу:
«Передайте Никифору Ильичу,
Сегодня ночью, не приходя в сознание,
Скончался товарищ Чэнь Чу!»
Врывается Никифор Ильич,
Произносит незабываемый спич:

«Знать ничего не хочу.
Отрубите руки неудачливому врачу,
Если вылечить он не сможет дорогого
товарища Чэнь Чу.

Товарищ Чэнь Чу — это скала,
Это пущенная из лука стрела,
Это лошадь, закусившая удила,
Это звук вгрызающегося в стену сверла.

Товарищ Чэнь Чу — это мотор,
Это грозный голос Гималайских гор,
Это врагам революции вечный позор,
Это вражеской хунте обвинительный
приговор.

Товарищ Чэнь — это весна,
Это день без обеда и ночь без сна,
Это тот, чья позиция всегда ясна.

Товарищ Чэнь Чу не был старым,
С его уходом мириться я не хочу.
Открутите головы санитарам,
Отрубите руки врачу,
Вызовите доктора Свенсона из
Стокгольма,
Выкопайте доктора Поля на кладбище
Пер-Лашез,
Пусть наш представитель, товарищ
Гольман,
Выдаст электронный скальпель и зубной
протез.

Ладно, оставим всю эту лабуду,
Выберем товарища Чэнь Боду.
Товарищ Чэнь Бода —
Вот наша истинная звезда,

Ярый враг полумер и химер,
Политический инженер, культурный
революционер,
Носит кепку на новый манер.
Да-да!

В дело вступает Чэнь Бода.
Никто не сможет найти нигде
Товарища, подобного Чэнь Боду,
А маловеры, нытики и враги
Не стоят мизинца его ноги».

Опускаю трубку на рычаг.
Появляется профессор Баскунчак,
Улыбается, клыки обнажив:
«Товарищ Чэнь Чу немного жив».

«Товарищ Чэнь Чу возвышается, как
в саванне жираф,
Товарищ Чэнь Чу всегда бесконечно прав,
Полезен, как настойка целебных трав,
Необходим, как импортный телеграф.
А предатель Чэнь Бода, каков нахал,
Сразу вылез на трибуну и рукой махал.
Хочу вам сказать, подлец Чэнь Бода
Не заменит товарища Чэнь Чу никогда.
Завтра же устроим военный парад.

Ты бессмертен, Чэнь Чу, камарад.
А разбойнику Чэнь Боде
Подберём работу в Улан-Уде
Так, что эта Улан-Уда
Запомнится ему навсегда.
Будет что-нибудь охранять под дождём,
А то возомнил себя пролетарским
вождём».

* * *

Никогда не забуду, однажды на станцию
Питер
прибыл опломбированный жёлтый вагон,
и, когда сняли пломбы, вышел товарищ
Сытин,
с ним товарищ Угрехелидзе и товарищ
Бон-бон.

Тогда начался грандиозный митинг.
Глаза слезились от солнца и блеска погон.
Поднявши руку, приветствовал массу
товарищ Сытин,
и тоже приветствовали товарищ
Угрехелидзе и товарищ Бон-бон.

Там были Фадеев, Калдеев
и Пепермалдеев,
поросята Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф,
полотёры, шахтёры, разбойники,
блудодеи,

и боксер Балув стоял огромный, как шкаф.

Юные физкультурницы прыгали, как стрекозы,
пенсионеры кричали: «Дайте нам, дайте нам хотя бы кусочек халвы!»
Тенор какой-то пел в микрофон ариозо.
Но никому ничего не досталось, увы.

Праздник закончился, потому что кончается всё на свете.
Подогнали к перрону кривоватый жёлтый фургон,
и помчались куда-то дальше по нашей невзрачной планете
товарищи Сытин, Угрехелидзе и товарищ Бон-бон.

Товарищ Бон-бон, мы любим тебя, мы сошьём тебе кацавейку,
и товарищи Сытин с Угрехелидзе останутся тоже пусть.
Но нет, укатили, не бросили даже копейку.
Только вечная слякоть осталась,
петербургская слякоть и грусть.

ЧАСТЬ 5

Война закончилась

На берегах реки Лис сидели мы
и хохотали,
сквернословили, объедались бёф
бургиньоном.

Война закончилась, и кто-то лысый
в Италии
прокричал об этом со своего балкона.

Было весело. Некоторые сидели без
головы,
многие были одноруки, обожжены,
контужены.

На животе Айзека Розенберга
расходились швы,
но всё-таки он был жив и тихо мечтал
об ужине.

Как же здорово, братцы, когда
заканчивается война.

Это самый торжественный день, честное
слово.

Жаль, конечно, что проливается слишком
много вина,
в горло трудно его заливать безголовым.

По реке Лис проходили тем временем
парусные суда,
на кораблях ежеминутно кого-то
вздёргивали на реи,
ошавевшие от запаха чайки носились
туда-сюда,
свинговали перекрашенные в негров
евреи.

Генерал из леса, как будто из-за кулис,
вычислял способных пройти по полям
в Париже,
и вино Шамбертен ручьями стекало
в реку Лис,
похожее на кровь, только немного жиже.

* * *

Счастлив, кто видел полёт пестрокрылой
чубайры.

Так же, кто видел Нинон, её тонкие
ноздри.

Солнце встаёт, приближается медленно
Кайрос.

Хронос уходит, колышется хвост его
острый.

Лёгок и грозен полёт медноклювой
чубайры.

Птица далёкая, соло небесного хора,
в небо уносит забытые страшные тайны,
вечно на север летит голубым коридором.

Вот в деревенском хлеву засыпают
солдаты.

Храп запрещён под угрозой
немедленной казни.
Ртуть нагревает в реторте алхимик
усатый,
тихо смеётся и кошку голодную дразнит.

Лишь бы не ведать о тайнах села
Мерхеули.
Там даже древние жители вспомнят
едва ли,
как волоокие гости в холодном июле
надписи ночью с могильного камня
сбивали.

Вот они вместе: Нинон в золотых
сандалетах,
юный застенчивый Кайрос и Хронос
хвостатый.
Горькие травы в пустынных полях
интернета.
Яйца чубайры и перья лесных куронок.

В саду Бим-бом

Ты жива и читаешь М. Петровых
на скамейке в саду Бим-бом,
где грехи спуют в островах травы,
замирают в пруду рябом.
Вот внезапно стихает кошмарный крик:
«Морикур понсэ! Морикур!»
Ты не смотришь, но это уходит старик,
как обычно, неряшлив и хмур.

Снял кальсоны и прыгнул последний
грех.
У пруда тишина и покой.
Только шелест листов. Кто-то белый,
как снег,
не тебя ли коснулся рукой?
Забываются рвы, где заснули все
под покровами пёсских шкур,

где кричал старик: «Морикур понсэ!
Морикур понсэ! Морикур!»

Поскорее бы Тот, с белоснежным лбом,
горечавкой засеял рвы.

И сверкают кометы в саду Бим-бом
над стихами М. Петровых.

Пилигримы

Сжимая палку финской колбасы,
к своей мечте идём двенадцать лун мы.
На полпути к отрогам Джомолунгмы
жестоко обморожены носы,
объедена кора плакучих ив,
отловлены бобры и черепахи.
Андре Шенье закончил жизнь на плахе,
но мы, его судьбу не разделив,
бредём туда, где слышится «ку-ку»,
где бегают Пеле и Марадона,
где отовсюду лезет беспардонно
живая жизнь, подобно червяку.
Мы голодны, как нищие коты,
мы от цинги беззубы и плешивы,
но мы идём не ради бога Шивы,
а ради безупречной Красоты.
То за спиной свирепствует самум,

то впереди безумствует сирокко,
но Красота, в которой нет упрёка,
влечёт за облака наш гордый ум.
Мы колбасу, как учит Моисей,
сожжём в костре на пике Эвереста.
Да будет так, ведь нет иного места,
достойного великой жертвы сей.
Вороны злые каркают в кустах,
стервятники ждут пышного обеда,
но еле слышный голос Кифареда
ведёт нас и развеивает страх.
Не думая о мрачном воронье,
мы движемся туда, где нет печали.
Там звёзды аллилуйю прокричали.
Там встретит нас живой Андре Шенье.

Эпоха Сун

Пленительна, свежа и куртуазна,
эпоха Сун полна разнообразных
поэтов, преуспевших в ремесле.
Вот Бао Чжао на своём осле,
а с ним другие на ослах поэты.
Они везде. В пустынях и в горах,
в толпе столичной, в княжеских шатрах
их тонкие мелькают силуэты.

Пронизан мир поэзией, как светом.
Незримо отражаются в стихе
холодная луна над Байдайхэ,
горячий дым полынной сигареты,
горластые гагары над заливом,
наложница Цзинлян и ветки сливы.

Уносят время воды куросио.
Теперь повсюду холод и темно,
тяжёловесна нынче проза, но
так хочется быть лёгким и счастливым.
Глаза закрою крепко и услы-
шу, как кричат поэты и ослы.

* * *

В слезах о пожилom иезуите,
Который был похож на Фернанделя.
Зачем его убили на Гаити,
Ни на сантим его не пожалели?

Перебирал ногами еле-еле,
По вечерам стирал носки в корыте.
Теперь бананы скачут по панели,
Свидетели трагических событий.

В хибарах тёмных гаитянки плачут,
Но что их слёзы в этом мире странном,
Который налетает ураганом,

То обернётся фресками Мазаччо,
То ножиком, то скачущим бананом,
То светлым небом, то дерьмом собачьим?

Антоний Падуанский

Каждый год одно и то же,
баобаб меняет кожу
и в слезах роняет листья
на расплавленный песок.
Тихий голос носорожий
и печалит, и тревожит.
Я хотел всю ночь молиться,
но услышал и не смог.

Тихий голос носорожий
долетает из саванны,
долго кружится над крышей
и ложится на порог.
Будто хочет, но не может
рассказать о чём-то странном,
будто плачет о небывшем
одиноким носорог.

Сонмы нежные русалок
выбираются на берег,
пьют вино и веселятся,
и поют на берегу.
Я безмерно слаб и жалок,
видно, больше я не верю,
до утра смотрю в пространство
и молиться не могу.

Далеко в потоках мрака
бродят братья-францисканцы,
я калачиком свернулся
и лежу у Божьих ног.
Я господняя собака,
я Антоний Падуанский.
Бог на землю смотрит грустно,
так же тих и одинок.

Die Winterreise

Март в Берлине.

Петер Андерс на сцене маленького зала.

За пианино Михаэль, похожий на

Мефистофеля,

качается и смотрит в никуда.

Сегодня вечером не бомбят.

Давно не было в мире такой тишины.

И только музыка. Шуберт. Die Winterreise.

Я вспоминаю.

Моника бежит ко мне по набережной

Шпрее, размахивая сумочкой.

Она кричит издалека: «Макс, Макс!

Из оркестра уволили евреев, и Герберт
меня назначил первой скрипкой!»

Её оливковые глаза светятся,

как я люблю их.

Она лопочет не переставая:

«У нас так легко дышится теперь,
как будто свежий ветер пробежал по
коридорам Оперы.

Мы репетировали „Эгмонта“.

Какая это чистая, сильная музыка,
по-настоящему немецкая.

Евреям нельзя играть Бетховена, они
не могут его чувствовать».

В её глазах свет, в её глазах счастье.

Я вспоминаю.

Хроника в кинотеатре перед фильмом
с Царой Леандер и Марикой Рёкк.

Наш флот входит в порт Мемеля,
на одном из крейсеров фюрер.

Как будто свежий морской ветерок веет
с экрана.

Как легко дышится даже здесь,
в кинозале.

Несчастные, поруганные немцы
встречают фюрера как бога.

Теперь все немцы вместе в единой
великой стране.

И Австрия с нами, и Судеты, и Мемель.
Какие-то поляки, непонятные литовцы
унижали нас.

Все всегда хотели нас унижить.
Но так больше не будет.
Как мы верили, что так больше не будет
никогда.

Я вспоминаю.
День рождения фюрера.
Опера на Унтер-ден-Линден.
Моника в оркестре, а я в зрительном
зале.
Петер Андерс поёт из «Нюрнбергских
мейстерзингеров».
Потом фюрер просит его спеть
Парсифаля.
Как счастлив фюрер, да и все
наслаждаются чудесной музыкой.
Все мы как будто уже не здесь, а улетели
в чистый мир звуков,
который намного лучше нашего мира.
И потом оvationи.
Долгие оvationи Петеру и, конечно,
фюреру
За то, что он объединил нас всех,
Ведь это он научил нас гордиться тем, что
мы немцы.
Фюрер обнимает Петера, как сына.
В феврале Оперу разбомбили. Нашей

Оперы больше нет.
Варварство.

Я вспоминаю.
В пивной «У последней инстанции».
Старичок был сильно пьян,
ему хотелось поговорить,
но язык заплетался,
и никто бы не смог понять, что он
бормочет.
Я разобрал только: «За всё придётся
заплатить».
Неужели вы думаете, что нам не
придётся заплатить?»
Я похлопал его по плечу и сказал:
«Не бойтесь, дедушка, мы за всё
заплатим.
Я могу и за вас заплатить.
Это всего шестьдесят восемь
рейхсмарок».
Но он отказался: «Заплати за себя», —
и заплакал.
О, эти пьяные слёзы, подумал я тогда.

Скоро закончится Die Winterreise,
и бомбы снова полетят на Берлин,
а потом придёт американец или русский,

и пристрелит меня,
и останется в комнате с Моникой.
Берлин, мой город, будет гореть
восемнадцать дней,
восемнадцать ночей,
пока не останется от него один пепел.

Петер уже поёт «Шарманщика».
Ещё несколько минут, и всё.
«За деревней крутит шарманку босой
старичок,
качается и смотрит в никуда.
Людей нет нигде, только собаки лают
и пытаются укусить его за ногу.
Денег нет, и смысла нет никакого в его
музыке.
Мне бы уйти с тобой, старый
Шарманщик,
но куда? Куда уйти?»

Евдокия

Всю ночь на дороге от Сум до Ирпеня
То конское ржание, то райское пение.
На пару минут Евдокия задремлет,
И сразу копыта грохочут о землю.
Куда эти кони полночные скачут?
Беду и погибель несут, не иначе.
От шума заснуть Евдокия не может,
Лежит и бормочет «помилуй мя, Боже».
Но кто-то же в небе поёт Трисвятое,
А значит, бояться и плакать не стоит.
В предутренний час, в половине шестого,
Встаёт на молитву невеста Христова.

Но бешеный стук сотрясает ворота.
Сестра Евдокия испугана: «Кто там?»
«Мы добрые люди, прими нас радушно.
Нужны только хлеба краюха и душ нам.

Крива и обманчива наша дорога.
Мы ехать устали, открой ради Бога».
В ворота обители, будто из ада,
Въезжает, как тёмная ночь, кавалькада.
Огромные кони в заржавленных латах,
На них лилипуты в зелёных бушлатах.
Увидев коней небывалого роста,
Монахиня шепчет Псалом девяностый.

Холодного пива пришельцы вкусили,
Едят монастырскую пасту фусилли.
Злодейством своим похваляются гости:
«От Сум до Ирпеня разбросаны кости,
И главный герой скоро будет в могиле.
Мы всё отобрали, мы всех победили».
Зелёные руки, зелёные лица.
Кричат, строят рожи, мешают молиться.
Негромко сестра говорит: «Вы забыли
О книге пророка Иезекииля.
В ней сказано, кости людские не вата,
Восстанут в долине Иосафата».

Один из бандитов, куря сигарету,
С улыбкой кривой отвечает на это:
«Подобной вовек не слыхал чепухи я,
Ни в жисть не подымутся кости сухие.

Давайте, ребята, прирежем сестрицу
И будем смотреть, как она возродится».
Монашка глядит на разбойника строго,
Безмолвно молясь о спасении Богу.
С мечом появляется Ангел-хранитель,
И гости стремглав покидают обитель.

Монахиню Ангел сажает на спину,
Взлетают и грустную видят картину.
Стоят вдоль дорог разорённые хаты,
По бывшему городу бродит сохатый,
На месте сгоревшего аэропорта
Лисица и волк занимаются спортом,
Кружат над столицей поддельные стерхи
И мечут помёт на собор Златоверхий.
Тогда на глазах появляются слёзы:
Везде разрушения, смерть и угрозы.
Но Ангел ей молвит: «Смотри, Евдокия,
На Землю небесный спускается Киев».

И правда, спускается Киев на Землю.
Он все города и деревни объемлет.
Крещатик там есть и святая София,
На солнце горят купола золотые.
Там домик стоит, где родился Булгаков,
Но нет воздыханья, болезни и страхов.

Спускается с неба божественный Киев.
Туда мы придём, но немного другие.
Туда мы придём, все, кто любит и верит,
И люди, и птицы, и добрые звери.
И Данте под ручку придёт с Алигьери,
И Моцарт там в шашки сыграет
с Сальери.

Аид

Мы прибываем в гористый Эпир,
Я, Вознесенский, Сморгков и Шекспир.
Скачет коза со скалы на скалу,
Маленький козлик жуёт мушмулу,
Грек бородатый, жилец этих мест,
Горький эндивий срывает и ест.
Солнце садится, когда мы втроём
Входим в холодный сырой водоём
И погружаемся в мрачный Аид,
Где нам теперь куковать предстоит.

Там у забора с котомкой пустой
Ходит известный писатель Толстой,
А на пригорке Аквинский Фома
Ест ежевику и сходит с ума.
Некто в очках постоянно хамит,
Полный невежда и антисемит.

Осип Козловский жуёт палимпсест,
Горький срывает эндивий и ест.

Вот по тропинке идёт Стагирит,
Умное что-то под нос говорит.
Дай нам ответ, Стагирит дорогой,
Ты нас спасёшь или кто-то другой.
Но Аристотель не смотрит на нас,
Быстро уходит, жуя ананас.

Вот Вознесенский бросается в лес,
Серой кукушкой мелькнул и исчез.
Тьма в этот час накрывает и нас,
Мир исчезает, хоть выколи глаз.
Вслед за деревьями тают слова.
Слышится только, как плачет сова,
Как верещит одинокий кулик,
Как Маяковский зовёт Лилю Брик,
Как вся природа и каждая вошь
Господа кличет: «Когда ты придёшь?»

CODA

* * *

Полёт Земли загадочный и длинный,
над лесом и заброшенной дорогой.
Там Ошеренко цаплей тонконогой
и Ботичелли с кистью соболиной.

Там поезда бредут за парой пара,
толпятся на оленьих перекрёстках,
Они ругают стрелочника жёстко
и гневно выпускают струйки пара.

Боярышника красная шеренга
людскую склоку делает незримой.
Лишь в свете поездов, бредущих мимо,
сверкает ожерелье Ошеренко.

Состав скрипит, как старые качели.
Во тьме Земля проносится над нами.
Там горы вырастают, там цунами,
то Ошеренко там, то Ботичелли.

* * *

Погасли фонари и все светила.
В крошечной тьме ни голоса, ни зги.
Большое сердце биться прекратило,
дурные травы выели мозги.

Лишь слышен вздох: «Мужайся,
Дометилла,
никто не вечен, все обречены».
Плывёт Земля, плывёт твоя могила
и ты, как шмат холодной ветчины.

Когда-нибудь взойдёт иное Солнце,
вокруг стола рассядутся друзья,
придут Иван Ильич, Хосе-Альфонсо
и добрая прабабушка твоя.

Иван Ильич Тверитинов-Тверикин,
Хосе-Альфонсо Мухин-Сагайдук,
один из них красив и колоритен,
другой изящно исчезает вдруг.

Он растворится, но возникнет снова
и принесёт маджары два ведра.
Прабабушка Гюзель попросит слово
и скажет речь часа на полтора.

Предстанет мир рассыпчатым и новым,
хрустящим, ароматным, молодым.
Сравнит его Гюзель с ферганским
пловом,
который мы вовек не доедим.

Тверитинов-Тверикин грациозно
отпляшет с Дометиллой краковяк.
И только зло слегка испортит воздух,
неслышно уползая, как червяк.

* * *

небо так прозрачно помню цвет его
голубой
ангелы и птицы распевают вместе с Тобой

на Земле тоскливо пахнет плесенью
и золой
прыгает у Залива кто-то слепой и злой

истинная любовь как всегда изгоняет
страх
золотые голуби купаются в солнечных
ветрах

разговоры под сенью церкви
Сент-Этьен-дю-Мон
розовый лосось желтоватый биск и лимон

белая антилопа бьёт копытом гюрзу
тёмным платком накрыло кто остался
внизу

вспомнят злых котов на Невском курицу
на Дону
пару седых антикваров вечную весну

как играют в нарды режут колбасу на
гробах
как уходят ночью Вершинин и Тузенбах

как они крадутся в осыпающихся лесах
сзади любовь крадётся отгоняет страх

скачет Анри Четвёртый самый добрый
король
праздные горожане шампанское апероль

тьма черна как печень вороного коня
в эту тьму зачем Ты изгоняешь меня

* * *

По дому рыщет ветерок несвежий.
Детишки во дворе гоняют булку.
Автобус семенит по переулку.
Слепой шофёр поёт «Tombe la neige».

Кладбищенский автобус тихо катит,
Роняя по дороге железяки.
Скулят сквозь сон бездомные собаки.
Кружится Магда в старомодном платье.

Уже гудит последняя пожежа.
Невидимое пламя лижет пятки.
Сгорает ветхий мир. А мы всё те же.

Старуха, позабывши день субботний,
В старинной книге ищет опечатки.
Всю ночь мелькают тени в подворотне.

* * *

расцветает морковник
на клумбе Регины Петровны
он цветёт небывало
и время уходит в вечность
как река в океан впадает

времени почти не осталось
висит кое-где клочками
на бельевой верёвке
на древних сучьях корявых
в саду Регины Петровны

о Регина Петровна
королева весеннего сада
неземных соцветий двудомных
белых лилий жёлтых форзиций
мелкая злая старушка

с цинковой лейкой Регина Петровна
медленно ходит вдоль клумбы
иногда поливает морковник
иногда проходит мимо
как будто ничего не предвидит

прислушайтесь к тишине
не шелестят осинники
птица канюк не канючит
тихой толпой присяжные
движутся по дальней аллее

* * *

В секретный сад, куда никто не вхож,
Где рыбий плеск в пруду зеленоватом,
Где на ветвях поспевшие кумкваты,
Забыв себя, однажды ты войдёшь.

На все сады земные не похож
Предвечный сад, холодным сном
объятый.

Плоды кислы и сладко-горьковаты,
Как нераздельны истина и ложь.

Оставлен храм, где служат самосвяты,
Исчез тот мир свиных и пёсских рож,
В котором ты всегда был виноватым.

Теперь ты чист, искуплен и хорош,
Хоть в жизни на красивые слова ты
Был падок, неразборчив, ну и что ж.

Memoria

Мир состоял из хрустальных снов,
был бесконечно нов.

Там мой дружок Эдуард Цыганов
танцевал без штанов.

В секретных дворах, где мы пили вино,
теперь вечерами темно,
мёртвая дева смотрит в окно,
крутит веретено.

По пальцам её стекает вода,
святая как никогда,
а мимо со стуком несутся года —
скорые поезда.

Где мы с тобой смотрели кино
«Осень» и «Мимино»,
голубь Серёга клюёт зерно,
голубю всё равно.

Александр Крупинин

В мечте о вечном фа-диезе,
который более всего

Дизайн и обложка
Татьяна фон Беелен

Издательство «Звезда»,
Санкт-Петербург 2024

ISBN 978-5-94214-089-2

Отпечатано в типографии «Астер-СПб»
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14
+7(812)633-05-42
info@aster-print.spb.ru



ISBN: 978-5-94214-089-2



9 785942 140892